



Volume 2

CHRONIQUE  
GÉNÉRALE



**L'ÉCOLE DE PHOTODUCTION**  
LE DÉPÔT DE LA PHOTOGRAPHIE

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ А. К. ШЕЛЛЕРА-МИХАЙЛОВА.  
ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ под редакцией и с критико-биографическим  
очеркомъ А. М. Скабичевского и с приложениемъ портрета Шеллера.  
ТОМЪ ПЕРВЫЙ Приложение къ журналу "Нива" за 1904 г. //Издание А. Ф.  
МАРКАСА, С.-ПЕТЕРБУРГЪ, 1904  
FB2: "rvvg ", 02 July 2015, version 1.0  
UUID: AFDB215E-862A-45F8-960A-2963CC933FEF  
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

# Александр Константинович Шеллер- Михайлов

## Милые бездельники (Сборник рассказов)

ШЕЛЛЕР, Александр Константинович, псевдоним — А. Михайлов (30.VII(11.VIII).1838, Петербург — 21.XI(4.XII).1900, там же) — прозаик, поэт. Отец — родом из эстонских крестьян, был театральным оркестрантом, затем придворным служителем. Мать — из обедневшего аристократического рода.

Ш. вошел в историю русской литературы как достаточно скромный в своих идейно-эстетических возможностях труженик-литератор, подвижник-публицист, пользовавшийся тем не менее горячей симпатией и признательностью современного ему массового демократического читателя России. Декларативность, книжность, схематизм, откровенное морализаторство predetermined резкое снижение интереса к романам и повестям Ш. в XX в.

# Содержание

#1 . . . . .	0005
I Вмѣсто предисловія . . . . .	0006
II Отставная царица . . . . .	0009
III Членъ общества . . . . .	0050
IV Барышни . . . . .	0082
V Мужъ Марьи Александровны . . . . .	0120
VI Идолъ . . . . .	0156
VII Обломки старины . . . . .	0188
VIII Бездѣльникъ по чужой винѣ . . . . .	0212
IX Изъ встрѣчь съ здоровыми людьми . . . . .	0264
X Мой дядя Тарасъ Григорьевичъ Шаповаленко . . . . .	0298
XI На кладбищѣ . . . . .	0312
XII Соблазнъ . . . . .	0348

**А. К. ШЕЛЛЕР-МИХАЙЛОВ**  
**МИЛЫЕ БЕЗДЕЛЬНИКИ**

# РАЗСКАЗЫ.

## Вмѣсто предисловія

— Да что вы мнѣ толкуете объ обществен-  
ныхъ интересахъ, объ общественной  
дѣятельности, когда у насъ бездѣльникъ на  
бездѣльникѣ сидитъ и бездѣльникомъ пого-  
няетъ, — сильно горячился одинъ господинъ,  
среднихъ лѣтъ, споря въ обществѣ пріятелей  
о нашихъ общественныхъ дѣлахъ.

— Да, положимъ, что у насъ и много мер-  
завцевъ, — началъ кто-то изъ его противни-  
ковъ примирительнымъ тономъ.

— Да я вовсе же не про мерзавцевъ говорю,  
а про бездѣльниковъ, — перебилъ его горячій  
спорщикъ. — Мерзавцевъ вездѣ непочатый  
уголъ, гдѣ есть люди, а я говорю про  
бездѣльниковъ, т. е. про людей, которые ни-  
чего не дѣлаютъ, пальца о палецъ не ударятъ,  
лежатъ на боку до гробовой доски. Вотъ како-  
го добра у насъ больше всего во всѣхъ сфе-  
рахъ. Куда вы ни толкнитесь, вы всюду на-  
ткнетесь на такого бездѣльника. Иной —  
мильйшій человѣкъ, а все-таки бездѣльникъ,

дармоѣдъ... Что-жъ мудренаго, если при такихъ господахъ дѣла плохо двигаются впередъ и въ думахъ, и въ банкахъ, и вездѣ...

— Да почему же ихъ много именно у насъ? — спросилъ кто-то спорщика.

— А я почему знаю!.. Можетъ-быть, потому, что нигдѣ не можетъ быть легче, чѣмъ у насъ, просидѣть всю жизнь безъ дѣда. Мы, по своему благодущію, всегда готовы и пріютить, и накормить, и одѣть тунеядца, и выгоняемъ его только тогда, когда ужъ окончательно убѣдимся, что онъ прохвость... Я, по крайней мѣрѣ, встрѣчалъ въ теченіе своей жизни такую массу подобныхъ бездѣльниковъ, что изъ ихъ біографій можно бы книгу цѣлую составить.

— Что-жъ, расскажите что-нибудь изъ своихъ наблюденій, — пристали мы всѣ къ горячему спорщику. — Оно будетъ кстати: бесплодные споры надоѣли, а расходиться еще рано. Вы поможете убить время.

— Ну да, я такъ и зналъ, что сведется на это: помогать другимъ убивать время и убивать самому время — это какъ-разъ занятіе русскаго бездѣльничества, — сердито прого-

вориль спорщикъ. — Впрочемъ, если хотите, буду рассказывать... будемъ убивать время...

И онъ началъ свои рассказы, которые я и передамъ читателю, прося его не забывать, что «наши бездѣльники», въ сущности, могутъ быть даже очень милыми людьми, добрыми малыми, только... прокормъ ихъ дорого стоитъ.



## Отставная царица

Ежегодная ярмарка одного изъ большихъ Южно-русскихъ городовъ должна была открыться черезъ два дня. Въ городъ наѣзжали изъ ближайшихъ и отдаленныхъ мѣстностей помѣщики и купцы, евреи и татары, шулера и антрепренеры. Весь городъ пришелъ въ движеніе, вездѣ слышались самыя разнообразныя звуки, тутъ ругались, тамъ вколачивали какіе-то гвозди, въ третьемъ мѣстѣ немолчно звучали топоры, прилаживая къ чему-то какія-то доски. Но едва ли не въ самой сильной степени отражались ярмарочный гамъ и ярмарочная суета въ квартирѣ, занятой однимъ изъ нашихъ извѣстныхъ комиковъ тридцатыхъ годовъ Щелковымъ, пріѣхавшимъ въ городъ съ семьею, чтобы, по приглашенію мѣстнаго антрепренера, дать нѣсколько представленій. Щелковъ былъ хорошій мужъ и отецъ семейства, добрый братъ и товарищъ, а потому никуда не ѣздилъ одинъ и всюду таскалъ съ со-

бою вмѣстѣ со своими костюмами и париками цѣлое полчище разныхъ чадъ и домочадцевъ. Жена, дѣти, сестры, какой-то суфлеръ-товарищъ, гдѣ-то подобранный на дорогѣ сирота-мальчикъ, котораго куда-то хотѣли опредѣлить, вся эта пестрая толпа самыхъ разнохарактерныхъ лицъ сопровождала Щелкова, и этотъ маленькій, толстенный и лысенькій добрякъ, вѣчно обливаясь потомъ, вѣчно суетясь, вѣчно стараясь вывести кого-то въ люди, выбивался изъ силъ, чтобы размѣстить и пристроить, чтобы накормить и успокоить свою «команду», а тутъ, какъ нарочно, подвертывался ему подъ руку какой-нибудь оборванный субъектъ съ разсказами о своемъ влеченіи къ театру, и возникали новыя хлопоты о спасеніи «таланта». «Талантъ», по большей части, оказывался какимъ-нибудь бездарнымъ проходимцемъ, какимъ-нибудь кабачнымъ тунеядцемъ, обкрадывалъ своего благодѣтеля, производилъ дебоши и, наконецъ, исчезалъ. Но Щелковъ не смущался, не унывалъ и, мирно посасывая изъ длиннаго чубука трубку, добродушно замѣчалъ:

— Ну, прохвость оказался, ну, испорченъ съ дѣтства до мозга костей, а талантъ, все-таки — талантъ! Я вотъ и самъ чуть такимъ не сдѣлался, если бы не добрые люди. Право! То же хорошъ гусь былъ прежде, по Владиміркѣ бы пошелъ, если бы не благодѣтели. Ей-Богу!

И Щелковъ рассказывалъ разные ужасы о томъ, какимъ негодяемъ будто бы готовился онъ сдѣлаться...

Теперь онъ нянчился и носился съ какой-то молодой, очень высокой, весьма дебой женщиной, въ которой онъ провидѣлъ великія способности изображать царицъ въ классическихъ пьесахъ Корнеля, Расина, Озерова и Сумарокова. Онъ такъ и называлъ ее «царицей».

— Вы посмотрите, посмотрите! — говорилъ онъ, захлебываясь отъ восторга, всѣмъ и каждому. — Вѣдь это царица, какъ есть царица! Что за фигура, что за движенія! Не ходитъ, а плаваетъ!

И дѣйствительно, Аглая Ивановна Акимова двигалась съ величественною медленностью, отличалась властительною привычкою пользоваться чужими услугами, съ невозму-

тимымъ спокойствіемъ героини классической трагедіи не занимаясь никакимъ будничнымъ дѣломъ. Къ семьѣ Щелкова она «пристала» случайно, какъ «приставала» случайно прежде и къ другимъ людямъ. Такъ «пристаютъ» на улицахъ бездомныя собачонки къ первому попавшемуся прохожему. Выросла она въ какой-то русской хлѣбосольной семьѣ купцовъ на пирогахъ и блинахъ, на калачахъ и сайкахъ, ни о чемъ не думая, ничѣмъ не волнуясь, расплзаясь въ ширину, вытягиваясь въ вышину, какъ опара, приготовленная на хорошихъ дрожжахъ. Потомъ, послѣ смерти купцовъ-благодѣтелей, въ нее влюбился какой-то провинціальный актеръ Акимовъ и, тронутый ея одиночествомъ, ея печальнымъ положеніемъ, посватался за нее, а, можетъ-быть, и не посватался, а просто она и къ нему «пристала», и пришлось жениться. Щелковъ былъ на этой свадьбѣ посаженнымъ отцомъ, такъ какъ въ Акимовѣ онъ видѣлъ «звѣзду, восходящую звѣзду!» Черезъ три-четыре года, Акимовъ, холившій и берегшій свою величественную супругу, умеръ отъ чихотки, и супруга его отправилась на хлѣба къ

«посажёному», т. е. къ Щелкову. Щелковъ не зналъ, что съ нею дѣлать, куда ее пристроить, какъ вдругъ его озарила мысль, что его «наречённая дочь» имѣетъ великія способности играть царицъ, и вотъ онъ началъ биться, отшлифовывая этотъ «алмазъ». Отшлифовать алмазъ было очень не легко, такъ какъ будущая классическая царица, выросшая безъ заботъ и тревогъ, не знала даже грамоты и очень равнодушно относилась во всякой шлифовкѣ. Роли она должна была заучивать «съ голосу».

— Ну, экая важность! — говорилъ Щелковъ. — И Семеновы не больно грамотны, а какіе самородки! Чистѣйшей воды алмазы!

Но сходство Аглаи Ивановны съ разными безграмотными самородками заключалось только въ ея безграмотности. На первомъ же дебютѣ она потерпѣла полное fiasco. Правда, она произвела нѣкоторый эффектъ, но этотъ эффектъ былъ крайне своеобразный: во время самага страстнаго, а потому и самага длиннаго монолога героя она прикрыла ротъ рукой «по-купечески» и безцеремонно зѣвнула. Эта неудача очень опечалила добродушнаго

Щелкова, но нисколько не тронула Аглаю Ивановну.

— Вѣдь посмотрите на нее: царица, какъ есть царица! — восклицалъ онъ, волнуясь. — А на сценѣ пень, сущій пень!.. Зѣваетъ-съ во время монологовъ, да еще ручкой изволить прикрываться!..

Аглая Ивановна со своей стороны говорила:

— И выдумалъ «посажённый» учить меня! Просто мука мученская! Да Богъ съ нимъ и съ театромъ, если каждый разъ надо такъ мучиться! И ходи-то такъ, а не этакъ, и говори-то Богъ знаетъ что, и на поль-то падай!.. Знала бы, такъ и не мучилась бы съ этимъ учениемъ.

И она была права: для чего ей было утруждать свою персону, когда у «посажёнаго» можно было и спать, и ѣсть, и пить вволю, когда можно было сидѣть, ничего не дѣлая, и лущить подсолнечныя сѣмечки съ утра до ночи, глазѣя въ окно на ярмарочныя сцены, тараторя съ сестрами и племянницами «посажёнаго». Чего лучше? Это ли не жизнь!

Но дебютъ Аглаи Ивановны не прошелъ

безслѣдно. Ее увидаль на сценѣ молодой помѣщикъ Александръ Петровичъ Дерюгинъ-Смирницкій и воспылалъ къ ней любовью. Любовью онъ проникался ко всѣмъ женщинамъ, которыя были выше его ростомъ, а выше его ростомъ были чуть не всѣ женщины, такъ какъ онъ по своей фигурѣ скорѣе могъ быть причисленъ къ разряду карликовъ, чѣмъ къ разряду людей средняго роста. Дебелыя красавицы съ плавными движеніями, съ роскошными формами были его слабостью. Маленькій, юркій, трусливый и сладенькій, онъ млѣлъ передъ подобными женщинами, но млѣлъ молча, боязливо, не смѣя признаться въ любви. Вѣроятно, и романъ съ Аглаей Ивановной кончился бы этимъ млѣніемъ и не зашелъ бы далѣе, если бы Александръ Петровичъ не попалъ къ Щелкову однажды, въ то время, когда въ квартирѣ, кромѣ Аглаи Ивановны, не было никого. Она встрѣтила гостя и величаво пригласила его присѣсть. Онъ молча принялъ предложеніе и замеръ въ умильномъ созерцаніи красотъ своей собесѣдницы. Всѣ онѣ были такія выпуклыя, что невольно бросались въ глаза.

— А вы въ городѣ или въ деревнѣ живете? — спросила она его, погрызывая подсолнечныя сѣмечки.

— Въ деревнѣ-съ, — отвѣтилъ онъ.

— Въ деревнѣ лучше, — замѣтила она. — Я, если бы у меня была деревня, все бы тамъ жила. Тутъ притомишься въ этихъ платьяхъ. А тамъ надѣла холодай и ходи себѣ или лежи въ жару.

Александръ Петровичъ не зналъ, что за одежду называетъ его собесѣдница «холодаемъ», но ему, вѣроятно, представлялась эта одежда чѣмъ-то въ родѣ костюма Евы, и онъ сладко улыбнулся.

— Что-жъ, у васъ и могла бы быть-съ деревня, — началъ онъ, потупляя глаза, и не кончилъ.

— Да, вотъ если какой помѣщикъ сыщется, — отвѣтила она съ величественнымъ спокойствіемъ.

— Какъ не сыскаться! — захлебнувшимся отъ восторга голосомъ сказалъ онъ.

Они помолчали. Александръ Петровичъ едва переводилъ дыханіе, глядя на обнаженныя толстыя руки Аглаи Ивановны, на ея ко-



лыхающуюся подъ узкимъ лифомъ грудь, на  
ея рдѣвшія румянцемъ щеки.

— А вы женаты? — вдругъ спросила она,  
прямо уставивъ на него глаза.

— Я-съ? — переспросилъ онъ, потупля-  
ясь. — Я-съ?.. Нѣтъ-съ!..

Наступила пауза. Бѣлые крупные зубы  
Аглаи Ивановны лутили сѣмечки.

— Отчего же? — опять послышался ея во-  
просъ.

— На комъ же-съ? — пробормоталъ онъ и  
засмѣялся.

Въ эту минуту вернулся кто-то изъ семьи  
Шелковыхъ, и разговоръ былъ прерванъ; Ми-  
нутъ черезъ десять гость ушелъ.

— А вы заходите къ намъ еще, — сказала  
Аглая Ивановна ему на прощанье и протяну-  
ла свою руку.

Гость шаркнулъ ножкой, пожалъ руку, по-  
томъ быстро поцѣловалъ ее и, красный, какъ  
пiонъ, выбѣжалъ козликомъ изъ комнаты.

Черезъ нѣсколько дней онъ былъ опять у  
Щелкова и опять бесѣдовалъ наединѣ съ Аг-  
лаей Ивановной. Среди разговора онъ риск-  
нулъ взять ее за руку и пробормотать:

— Вы очаровательница!

— А вы женитесь на мнѣ,- просто и спокойно отвѣтила Аглая Ивановна.

Дерюгинъ-Смирницкій замеръ отъ наплыва какихъ-то сладкихъ ощущеній, а Аглая Ивановна встала передъ нимъ и погладила его по волосамъ.

— Вы ничего, хорошій, — проговорила она.

Передъ самыми его глазами равномерно подымалась пышная грудь, стянутая узкимъ лифомъ; онъ не выдержалъ и скрылъ свое лицо на этой груди.

Отставная царица театральныхъ подмостокъ, благодетельствовавъ такимъ образомъ Дерюгина-Смирницкаго, поѣхала на покой въ его деревню Самодуровку, Лыково тожъ.

— Саша, а Саша! Да куда ты запропастился!.. Аксютка, гдѣ баринъ? Бѣги, паршивица, за бариномъ...

Эти приказанія раздавались въ спальнѣ барскаго дома въ Самодуровкѣ и отдавала ихъ лѣнивымъ голосомъ сама отставная царица. Она лежала на постели въ бѣломъ «холодаѣ», то-есть въ какой-то широчайшей блузѣ съ греческими рукавами. И рукава, и

сама блуза, все это висѣло на жирномъ, бѣломъ, выхоленномъ тѣлѣ. Это была не женщина, а большая, большая, бѣлая пуховая перина.

— Что тебѣ, Глашокъ?.. Ты звала меня? — суетливо спрашивалъ Александръ Петровичъ, мелкими шажками вбѣгая въ спальню.

— Да, вотъ два часа битыхъ заснуть не могу, измаялась совсѣмъ. Почитай, что ты тамъ началъ про Кузьму Рощина вчера; авось, засну, — отвѣтила Аглая Ивановна.

— Сейчасъ, сейчасъ, Глашокъ, — засуетился Александръ Петровичъ. — Я прикорнулъ у себя немного... Я сейчасъ...

— Аксютка, ты на полъ положи мнѣ подушки, а то жара тутъ, — приказала Аглая Ивановна.

Аксютка, босоногая крѣпостная дѣвка, поспѣшно разостлала на полу коверъ и положила подушки. Аглая Ивановна лѣниво поднялась съ постели, такъ же лѣниво дошла до разостланнаго ковра и такъ же лѣниво опустилась на полъ и легла на спину.

— Гоняй мухъ! Одолѣли, проклятыя, — проговорила Аглая Ивановна. — Да скажи ты,

Саша, бабамъ, чтобы завтра въ лѣсъ за мухоморами шли. Тутъ помираешь отъ мухъ, а онѣ мухоморовъ набрать не могутъ.

Аксютка начала гонять надъ головой отставной царицы мухъ опахаломъ домашняго издѣлія. Александръ Петровичъ присѣлъ на скамеечку и сталъ читать.

— Охъ, вотъ маета-то... разломило всю, а сна нѣтъ... — вздыхала Аглая Ивановна. — Аксютка, позови Палашку, пусть волосы почешетъ.

Аксютка побѣжала за Палашкой.

— Чеши волосы!

Палатка сѣла въ изголовья у Аглаи Ивановны и начала мелкимъ гребешкомъ почесывать барынѣ голову. Аглая Ивановна разстегнула воротъ холодая, откинула вверхъ греческіе рукава, томно зажмурила глаза и, мало-по-малу, при помощи чтенія и почесыванія головы, заснула сладкимъ сномъ съ блаженною улыбкою на лицѣ. Александръ Петровичъ махнулъ «дѣвкамъ» рукою, тѣ перестали чесать и обмахивать барыню. Съ минуту онъ посмотрѣлъ съ умильной улыбкой на роскошныя формы раскинувшейся передъ

нимъ его супруги и на цыпочкахъ вышелъ изъ комнаты.

Онъ былъ вполнѣ счастливъ: такой роскошной женщиной не обладалъ никто въ цѣлой губерніи.

Александръ Петровичъ былъ человѣкъ мягкій и добрый; крестьяне у него жили, какъ у Христа за пазухой: онъ даже мечталъ что-то такое сдѣлать, чтобы имъ жилось еще лучше. Но его женитьба измѣнила все, хотя онъ и самъ не замѣчалъ этой переменны. Какъ многіе малорослые и слабосильные люди, онъ не любилъ показывать видъ, что имъ кто-нибудь управляетъ, что его кто-нибудь держитъ въ рукахъ. Онъ никогда бы не рѣшился сознаться даже передъ самимъ собою, что онъ попалъ подъ башмакъ жены. Подобно герою какой-то старинной пьесы, онъ могъ отъ страха спрятаться подъ столъ, но и тамъ онъ сказалъ бы, что онъ сидитъ подъ столомъ потому, что это нравится ему. Такихъ самостоятельныхъ людей у насъ непочатый уголъ. Онъ говорилъ: «Я балую Глашу, но у меня въ домѣ моя воля — законъ!» Онъ не замѣчалъ только одного, что ему приходилось на каж-

домъ шагу вовсе отказываться отъ своей воли, чтобы имѣть возможность баловать жену. Она ему никогда ничего не приказывала, она только ласкала его, когда онъ былъ покорень ей, и была холодна съ нимъ, когда онъ не баловалъ ее.

— Вы у насъ настоящая королева! — говорилъ исправникъ Аглаѣ Ивановнѣ. — Идете, какъ лебедь бѣлая. Взглянете — рублемъ подарите. Повелѣвать бы вамъ только!

— Ишь ты финтикъ самъ-то какой, а жену этакую подцѣпилъ! — говорилъ Александру Петровичу отставной ротмистръ Павлицевъ, сосѣдъ его по имѣнію.

— Ваша супруга — русская боярыня! — съ чувствомъ замѣчалъ деревенскій священникъ Дерюгину-Смирницкому. — Степенная, величавая, а не то что какая-нибудь нѣмка поджарая.

Александръ Петровичъ слушалъ эти рѣчи и гордился своею супругою. Онъ, какъ во времена своего сватовства, все еще продолжалъ восхищаться ея роскошными формами, все еще не могъ пресытиться ея прелестями, все еще игралъ роль восторженнаго любовника,

который боится и повѣрить, что онъ имѣетъ право дѣйствительно обладать сводящимъ его съ ума сокровищемъ. Аглая Ивановна во все не была страстною женщиною, но она была именно изъ числа тѣхъ роскошно распустившихся женщинъ, которыя разжигаютъ страсти, будучи созданы только для этой чисто животной жизни, не направляя умовъ встрѣтившихся съ ними людей ни къ чему иному, кромѣ этихъ животныхъ инстинктовъ, не давая людямъ ничего, кромѣ возможности вволю насладиться этой животной жизнью. Это было тѣло и больше ничего. Когда Александръ Петровичъ провинился въ чемъ-нибудь передъ Аглаей Ивановной, она не кричала, не бранилась, а только, тихонько всхлипывая, говорила:

— Поди ты, Саша! Не любишь ты меня! Не знала я, что ты такой! Вонъ другіе не такъ бы меня лелѣяли да ласкали!

И затѣмъ она уходила въ свою спальню и запиралась. На всѣ просьбы и моленія Александра Петровича, чтобы она вышла, получался одинъ отвѣтъ:

— Я совсѣмъ расхворалась! Оставь ты ме-

ня, пожалуйста! На что я тебѣ нужна, ужь если ты разлюбилъ...

Потомъ, когда дверь открывалась, когда Александръ Петровичъ бросался цѣловать руки жены, она тихо отстраняла его и твердила:

— Не надо, не надо!.. Ужь если разлюбилъ, то нечего и цѣловать...

Это доводило Александра Петровича чуть не до сумасшествія. Онъ ползалъ передъ своею супругой на колѣняхъ и вымаливалъ прощеніе.

— Нѣтъ, нѣтъ, ступай! — твердила она. — Ты Акулькѣ косы не хотѣлъ обрѣзать за то, что она меня измучила, окаянная; вѣрно, Акулька-то тебѣ дороже, такъ и иди къ ней, а меня цѣловать нечего, я постыла тебѣ... Только кто тебя ласкать-то будетъ такъ, какъ я. Гдѣ ты такую-то другую найдешь, какъ я. Если бы ты не обманулъ меня, ягненкомъ прикинувшись, я, можетъ-быть, губернаторшей или предводительшей была бы. Вонъ про меня сама судыха сказала, что я точно молокомъ отпоенная, а ужь у нея на что завидующіе глаза. Такъ такую-то жену другой мужъ на рукахъ бы носилъ, ножки и ручки у нея цѣловалъ бы.



И если бы ты еще самъ-то гусаръ, либо какой ни на есть видный человѣкъ былъ, а то вонъ всѣ смѣются, говорятъ: «за что вы только его, Аглая Ивановна, любите? Никакого въ немъ виду и представленія нѣтъ». Да! вотъ что люди-то говорятъ, а я, дура, къ тебѣ привязалась, къ обманщику...

Повелительница говорила и много, и долго, пересчитывала всѣ грѣхи своего вѣрноподданнаго и выставляла на видъ всѣ свои заслуги. Александръ Петровичъ терялъ голову: стригъ косу Акулькѣ, сѣкъ Палашку, сдавалъ въ солдаты Ваську, лишь бы имѣть право наслаждаться любовью своей царицы.

\* \* \*

Счастливая жизнь пошла въ домъ. Захочетъ Аглая Ивановна пиръ устроить, проситъ мужа гостей созвать.

— Дорого это будетъ стоить, Глашокъ, — робко замѣчаетъ онъ.

— Ну да, Саша, тебѣ всегда жаль для меня денегъ, для меня все дорого, — замѣчаетъ она вздыхая.

— Что ты, что ты, Глашокъ! — восклицаетъ онъ поспѣшно.

И гости ссываются, пиръ устраивается.

— Ну, ужъ и угостили же вы насъ! — говоритъ кто-нибудь изъ гостей. — Вскочило вамъ въ копеечку это празднество.

— Это все Саша, — говоритъ Аглая Ивановна, ласково глядя на мужа. — Онъ у меня все самъ, меня ни къ чему и не подпускаетъ. Онъ вѣдь у меня — хозяинъ мой и тиранъ мой. Платья себѣ сама ни одного не купила, все онъ — и сѣздитъ, и купить.

— Избаловаль онъ меня, совсѣмъ избаловаль. Какъ-то только мнѣ безъ него жить будетъ, я ужъ и не знаю. А онъ вотъ не бережетъ себя, на охоту ѣздитъ, простужается.

Останутся супруги вдвоемъ, почетъ Александръ Петровичъ поохотиться, Аглая Ивановна говоритъ:

— Саша, не ѣзди, простудишься ты, голубчикъ! Пожалѣй ты меня! Здоровье у тебя слабое; храни Господи, еще что-нибудь сдѣлается! Вѣдь я безъ тебя пропаду, тобой я только и держусь. Останься лучше, почитай вотъ мнѣ что-нибудь!

— Да я не надолго, — замѣчаетъ мужъ.

— Видно, надоѣло тебѣ сидѣть со мною, —

вздыхаетъ жена.

— Полно, полно, Глашокъ, что ты! — восклицаетъ мужъ.

И мужъ остается, читаетъ, убаюкиваетъ жену чтеніемъ.

А она говоритъ потомъ при немъ сосѣдямъ:

— Вѣдь до чего онъ бережетъ меня: на охоту пересталъ ѣздить. «Мнѣ, говоритъ, для тебя беречь себя нужно! Ты у меня, ровно дитя малое, неопытна, ничего не знаешь, ничѣмъ не управляешь. Тебѣ безъ меня и дня не прожить!» Охъ, набаловалъ меня, набаловалъ на бѣду.

Александръ Петровичъ смотритъ гордо, сознавая, что онъ дѣйствительно хозяинъ въ домѣ, что онъ относится къ женѣ, какъ баловникъ-отецъ, что онъ не далъ ей забрать себя въ руки.

И все счастливѣе и счастливѣе текла жизнь въ ихъ домѣ. Александръ Петровичъ уже безъ всякихъ просьбъ и слезъ жены предугадывалъ ея желанія, онъ уже самъ убѣдился въ слабости своего здоровья и потому не ѣздилъ на охоту, не кутилъ съ

пріятелями. Аглая Ивановна, катаясь какъ сыръ въ маслѣ, все рѣже и рѣже подвергала мужа опалѣ и отлученію отъ себя и осыпала его нѣжными ласками, словесными заботами о его здоровьѣ.

\* \* \*

Среди этого мирнаго затишья засталъ ихъ племянникъ Александра Петровича — молодой петербургскій чиновникъ по особымъ порученіямъ, Петръ Васильевичъ Дерюгинъ-Смирницкій.

Въ домѣ дяди пріѣзжаго гостя встрѣтили радушно, но его поразило въ этомъ домѣ все, и безграмотная и вѣчно праздная тетка, и превращеніе дяди изъ веселаго человѣка въ какого-то запуганнаго старикашку, и таинственные толки дяди о запутанности его дѣлъ и о плохомъ состояніи его здоровья.

— Дѣла-то у меня, Петя, плохи, — шепталъ старикъ, моргая глазами. — Имѣньишко-то заложено и перезаложено, долгишки на сторонѣ есть, а здоровье-то schwach, очень schwach! Я ужъ и не ѣмъ почти ничего, чтобы желудокъ не засорить. Вотъ купилъ два лѣчебника, самъ, знаешь, хочу лѣчиться. Док-

торовъ вѣдь позовешь, такъ Глашу напугаешь. А я отъ нея все скрываю. Она у меня вѣдь, какъ ребенокъ, ничего не понимаетъ. Вогъ Гуфеланда теперь пробую, по его методѣ хочу пользоваться...

— Да полно вамъ, дядя, выдумывать небывалыя болѣзни! — замѣтилъ племянникъ. — Ободритесь, выѣзжайте, разсѣивайтесь, и будете здоровы. Вы здѣсь хандру нажили, затворившись съ женою. Такъ нельзя. Вы вонъ даже газетъ не читаете.

— Ахъ, Петя, Петя! — съ укоромъ сказалъ Александръ Петровичъ. — Ну, что я стану газеты читать, когда это Глашѣ никакого удовольствія не приноситъ? Она женщина, ее эта политика тамъ не занимаетъ, ей романы нравятся...

— Да вы ей и не читайте газетъ, а читайте ихъ для себя...

— Безъ нея-то? Что ты, что ты, Петруша!.. Да вѣдь она со скуки, голубушка, помретъ, если я буду все одинъ да одинъ про себя читать...

— А не выѣзжаете-то отчего?

— Да все нездоровится...

— Полноте, дядя, вы совсѣмъ здоровы.

— Да и нельзя Глашу одну оставить. Что же я за мужъ буду, если буду бросать жену...

— Ну, ѣздите съ ней...

— Петя, Петя, развѣ ты не видишь, что она женщина сырая, болѣзненная. Гдѣ ей выѣзжать!

— Набаловали вы ее, вотъ я вамъ что скажу, — замѣтилъ племянникъ.

— Тсъ! тсъ! Что ты, что ты! — замахалъ руками Александръ Петровичъ. — Я набаловалъ Глашу... я!.. Вотъ выдумалъ... Ты этого ей не скажи... Она женщина слабая, болѣзненная, нервы тоже... Ахъ, ахъ, что придумалъ!.. Грѣхъ тебѣ, Петруша!..

Петръ Васильевичъ только пожалъ плечами и тономъ сожалѣнія промолвилъ:

— Жаль мнѣ васъ, дядя, очень жаль! Не такимъ вы были прежде...

Петръ Васильевичъ уѣхалъ отъ дяди, глубоко возмущенный всѣмъ, что онъ видѣлъ. Еще болѣе возмущали его жалобныя письма дяди, гдѣ старикъ писалъ, что онъ теперь и лѣтомъ фуфайку носить, что онъ выписалъ какую-то жизненную эссенцію и только ею

поддерживаетъ жизнь, что онъ уже пересталъ ѣсть мясо, такъ какъ это тяжело для его желудка.

— Несчастный старикъ! Поддался вліянію глупой бабы, разорился, оглупѣлъ, дошелъ до маніи, что онъ боленъ, — говорилъ Петръ Васильевичъ. — Я бы проучилъ эту бабу. Пятьдесятъ лѣтъ провалялась на печи, жила на чужой шеѣ, пальца о палецъ не стукнула. И гдѣ, кромѣ Россіи, можетъ просуществовать такой паразитъ, какъ она? И вѣдь находились же дураки, которые всю жизнь поддерживали ее. Просто удивляться нужно нашей россійской глупости, нашему благодушію!..

Но переписка дяди и племянника дѣлалась все рѣже, дѣла Петра Васильевича по службѣ становились все сложнѣе, онъ дѣлался все солиднѣе и, наконецъ, изъ него выработался типъ истаго директора департамента. Невозмутимый, гладко выбритый, съ красивыми бакенбардами, серьезный по виду, онъ занимался теперь общественною службою и уже не волновался разными мелочами въ родѣ того, что какой-то его дядя одурѣлъ подъ вліяніемъ глупой бабы. Дѣйствительный

статскій совѣтникъ Петръ Васильевичъ Дерюгинъ-Смирницкій даже вовсе забылъ, что у него есть гдѣ-то на Руси какой-то дядя.

\* \* \*

Былъ одинъ изъ праздничныхъ дней, когда Петръ Васильевичъ имѣлъ обыкновеніе дѣлать визиты къ своимъ высокопоставленнымъ друзьямъ и пріятелямъ. Онъ довольно долго просидѣлъ у зеркала, подправляя бакенбарды, повязывая галстукъ и причесывая волосы на головѣ такъ, чтобы скрыть маленькую лысину въ пятакъ на затылкѣ. Смотрясь въ зеркало, онъ замѣтилъ въ волосахъ на вискахъ пару сѣдыхъ волосъ, поморщился и началъ вылавливать ихъ, чтобы выдернуть этихъ предательскихъ вѣстниковъ приближавшейся старости. Довольно долго ускользали они изъ-подъ его пальцевъ, наконецъ онъ захватилъ ихъ и сталъ отдѣлять отъ нихъ попавшіеся подъ руку не сѣдые волоса, не желая лишать голову этого украшенія. Занятіе подвигалось впередъ медленно и такъ поглоштило все вниманіе Петра Васильевича, что онъ не замѣтилъ вошедшаго въ комнату лакея.



— Тетушка вашего превосходительства изволили пожаловать, — доложилъ лакей.

— Что? — крикнулъ Петръ Васильевичъ и выдернулъ изъ головы штукъ пять зажатыхъ между пальцами волосъ.

Лакей повторилъ докладъ.

— Какъ тетушка? Откуда? Нѣтъ у меня...

Но Петръ Васильевичъ не кончилъ. Въ комнату торопливыми шагами вошла высокая, толстая старуха и бросилась къ нему со словами:

— Вотъ онъ, мой голубчикъ, дорогой мой!

Петръ Васильевичъ не успѣлъ еще опомниться, какъ его уже сжимала въ объятіяхъ Аглая Ивановна, измявъ ему и воротнички, и грудь крахмальной рубашки.

— Благодарѣтель ты мой, одинъ ты у меня остался, никого больше нѣтъ у меня, у сироты! — говорила она, цѣлуя его и орошая слезами его модный жилетъ.

Лакей съ глупой миной глазѣлъ на эту сцену.

— Ступай, болванъ! — приказалъ Петръ Васильевичъ и освободился отъ объятій Аглаи Ивановны. — Какъ вы попали сюда?

Что дядя?

— Умеръ, голубчикъ, умеръ! — заплакала она. — Разорили насъ злодѣи, въ чужому домѣ и умеръ, нищая я теперь, едва дотащи-лась къ тебѣ сюда...

— Гдѣ же вы остановились? — спросилъ Петръ Васильевичъ.

— Къ тебѣ, дорогой мой, пріѣхала, прямо къ тебѣ! Въ департаментѣ была, узнала отъ добрыхъ людей. «Гдѣ, спрашиваю, живетъ мой племянникъ?» Сказали, спасибо имъ...

Петръ Васильевичъ въ волненіи заходилъ по комнатѣ. Онъ вовсе не признавалъ себя ея племянникомъ; она просто была жена его покойнаго дяди. Держать ее у себя — этого и въ голову ему не приходило.

— Мнѣ очень жаль, что я не могу вамъ предложить комнаты у себя, — сухо началъ онъ. — Я живу...

— Ужъ гдѣ же мнѣ жить у тебя, дорогой мой! Развѣ я не знаю, что не у мѣста я здѣсь, — говорила плача Аглая Ивановна. — Я только на день, на два... Пристать негдѣ было... денегъ нѣтъ на плату за постой... Пойду завтра хлопотать, чтобы въ богадѣльню при-

строили... Помѣщикъ тутъ одинъ, по имѣнію знали его, графъ Посошковъ прозывается, мѣсто видное имѣеть, подручный при министръ онъ у васъ, что ли, его просить буду...

— Помилуйте, что вы, что вы, какъ можно? — съ испугомъ воскликнулъ Петръ Васильевичъ. — Я съ графомъ Посошковымъ въ самыхъ дружескихъ отношеніяхъ...

— Ну, вотъ и слава Богу, я и скажу, что я тебѣ тетенька, онъ и опредѣлитъ. Мнѣ хоть бы въ мѣщанскую какую-нибудь богадѣльню попасть, все равно! — говорила старуха покорнымъ тономъ.

— Да этого нельзя! — волновался Петръ Васильевичъ, быстро ходя по комнатѣ. — Я не желаю, чтобы жена моего дяди христарадничала. Вы носите мою фамилію! Вы это поймите! Я не какой-нибудь Ивановъ или Ефремовъ, а Дерюгинъ-Смирницкій! Дерюгины-хъ-Смирницкихъ въ Россіи, кромѣ меня, нѣтъ... Это невозможно!

Онъ еще быстрѣе заходилъ по комнатѣ, потирая себѣ лобъ.

— Вотъ-то бѣда, вотъ бѣда! — охала Аглая Ивановна. — Правъ ты, голубчикъ, правъ, не

слѣдъ мнѣ позорить тебя. Ужъ лучше умру съ голода, а въ богадѣльню не стану проситься. Ахъ, бѣда какая! Нѣтъ, ужъ я порядокъ знаю, нр оконфужу тебя. Лучше съ голоду поколѣю. Мнѣ, старушонкѣ, что! Туда и дорога!

— Зачѣмъ же умирать съ голода... я помогу... — сказалъ смягченнымъ голосомъ тронутый Петръ Васильевичъ. — Это мой долгъ...

— Ангель, ангель, дѣлай, какъ знаешь! — воскликнула Аглая Ивановна, ловя его руку для поцѣлуя.

— Не надо, не надо, что вы! — отдернулъ руку Петръ Васильевичъ.

Аглая Ивановна поцѣловала его въ плечо.

— Я вамъ дамъ двадцать рублей въ мѣсяць, — сказалъ онъ. — Какъ-нибудь устроитесь... ну, а тамъ посмотримъ...

— Двадцать рублей! Охъ, голубчикъ, разорю я тебя, старушонка несчастная, совсѣмъ разорю....

Послѣдовали новые поцѣлуи въ плечо. Петръ Васильевичъ былъ доволенъ, что могъ помочь старухѣ. Добрыя дѣла всегда пробуждаютъ благодушное настроеніе. Петръ Васильевичъ даже рассуждалъ, что онъ обязанъ

помогать теткѣ, такъ какъ, не будь его, она попросилась бы въ богадѣльню, добилась бы гдѣ-нибудь вспомошествованія.

Черезъ два дня Аглая Ивановна помѣстилась въ комнатѣ отъ жильцовъ и сразу сошлась со всякимъ бабьемъ, лившимъ по сосѣдству. Знакомства сводила она быстро съ первыми встрѣчными людьми, не гнушаясь ни дворникомъ, ни кухаркой, ни побирушкой. Она даже любила знакомыхъ «изъ простыхъ», такъ какъ имъ она называла себя «помѣщицей», «дворянкой», чуть не вдовой генерала. Здѣсь она узнала многое, а между прочимъ и то, что въ Петербургѣ деньги можно вносить «на книжку» въ сберегательную кассу и что на нихъ идутъ проценты. Скопить денегъ — зга мысль засѣла ей въ голову, и безграмотная женщина стала цѣлыми днями высчитывать, сколько у нея будетъ «рублевъ», если она снесетъ въ сберегательную кассу пять «рублевъ» нынче, да пять «рублевъ» черезъ мѣсяць, да еще пять «рублевъ» черезъ мѣсяць; потомъ у нея шли расчеты, сколько «працентовъ» на пять «рублевъ» въ мѣсяць ей дадутъ и сколько «працентовъ»

пойдетъ на эти «праценты».

— А вотъ, коли у кого двѣсти рублей есть, — говорили ей между тѣмъ старушонки: — такъ тотъ, матушка, выигрышный билетъ можетъ купить, на него — и процентъ идетъ, и выигрышъ въ двѣсти тысячъ идетъ. Каждый годъ, значить, это лотерея идетъ и кому присудятъ, тотъ и получить. Въ прошломъ году солдатъ выигралъ да только съ радости запилъ и повѣсился.

— А сколько рублевъ въ мѣсяцъ надо вносить, чтобы двѣсти рублевъ было черезъ годъ? — спрашивала Аглая Ивановна.

— Да почитай, что всѣ двадцать, — отвѣтили ей.

— Охъ, не могу родныя! Охъ, не могу, голубушки! — застонала она. — А коли пятнадцать откладывать — двѣсти не выйдетъ?

— Нѣтъ, матушка, больше году ждать надо.

— Охъ, не могу, двадцати откладывать, не могу!

Но отъ мысли отложить двѣсти рублевъ она, тѣмъ не менѣе, не отказалась и начала отказывать себѣ во всемъ, чтобы скопить эти деньги.

Прошло мѣсяцевъ пять или шесть, какъ вдругъ Петръ Васильевичъ получилъ записку:

«Ваше превосходительство, тетенька ваша находится въ болезни и просятъ васъ проститься съ нею.

За симъ имѣю честь быть по порученію ихъ квартирохозяйка  
Овдотя Силина».

Петръ Васильевичъ поскакалъ къ теткѣ и нашелъ ее въ очень плохомъ положеніи. Она едва говорила. Уголь, занимаемый ею, былъ тѣсень и сыръ.

— Зачѣмъ вы перебрались изъ свѣтлой комнаты сюда? — спрашивалъ ее Петръ Васильевичъ.

— Охъ, батюшка, средствъ не хватало платить! Охъ, жить я не умѣю! — стонала тетка. — У дяденьки твоего, какъ у Христа за пазухой, жила, ничего-то не знала, все-то готовое было, разсчитать теперь ничего не умѣю... Прежде все крестьяне тебѣ и принесли, и сдѣлають. А тутъ мужикъ — грабитель, за все-то содрать норовить...

— Вы звали доктора? — спросилъ Петръ

Васильевичъ.

— Охъ, нѣтъ... Охъ, заплатитъ нечѣмъ! — стонала больная.

Петръ Васильевичъ приказалъ послать за докторомъ.

— Пожалуйста, только переведите больную въ другую комнату, а то неловко принять здѣсь доктора, — сказалъ онъ хозяйкѣ. — Я заплачу, сколько будетъ нужно...

— Хорошо, батюшка, хорошо! — засуеги-лась квартирная хозяйка.

Докторъ пріѣхалъ, осмотрѣлъ больную и сказалъ, что у нея сильный упадокъ силъ и малокровіе отъ недостатка питанія и отъ плохого помѣщенія.

Петръ Васильевичъ заѣхалъ на другой день справиться о результатѣ докторскаго посѣщенія.

— Охъ, ничего не сказалъ, — проговорила прерывающимся голосомъ больная. — «Ѣдите плохо, говоритъ, помѣщеніе дурно». Пропи-салъ что-то. «Вы, говоритъ, чуть не умерли отъ голода». «Да изъ чего, говорю, я роскош-ничать-то стану, здѣсь за все и про все плати, а денегъ-то гдѣ взять...» «Вы, говоритъ, не род-



ня Дерюгину-Смирницкому, директору департамента?..» Это какъ рецептъ-то стать писать да фамилью спросиль. «Нѣтъ, говорю...» Солгала... охъ, на старости лѣтъ солгала... для тебя, дорогой мой... «Странно, говоритъ, я думаль, что другихъ Дерюгиныхъ-Смирницкихъ нѣтъ. А то, говоритъ, я поѣхаль бы къ нему попросить помочь вамъ!..» Охъ, не надо, говорю, не надоі..

Петръ Васильевичъ кусаль губы. Ему было неловко, что старуха лжетъ изъ-за него. Онъ даже внутренно упрекаль себя за то, что онъ даваль ей только двадцать рублей въ мѣсяць. На эти деньги трудно вообще прожить, а ей это было еще труднѣе, такъ какъ она не умѣла разсчитывать, экономничать.

— Васъ надо въ больницу помѣстить, — довольно ласково сказалъ онъ. — Я найму комнату тамъ.

— Охъ, хорошо... Только обносилаь я вся... въ чемъ поѣду-то... бѣлье узлами связано... Мнѣ-то ничего, да тамъ-то увидятъ... узнаютъ вѣдь, кто я... Охъ, ужъ лучше бы бросить меня околѣвать... а то только тебя въ изъянъ ввожу...

— Надо сдѣлать все, поторопиться надо, — замѣтилъ племянникъ, прерывая больную.

— Вотъ тоже чепчичекъ бы какой ни на есть... да носовые платчишки... а то въ тряпки сморкаюсь... изъ старыхъ сорочекъ нарвала.

Петръ Васильевичъ потерялъ голову; цѣлый день онъ разѣзжалъ за покупками, нанялъ номеръ въ больницѣ для платящихъ, нанялъ карету и свезъ больную въ нанятое помѣщеніе. Дня два онъ былъ спокоенъ и даже благодумствовалъ, сдѣлавъ доброе дѣло, но на третій день явился сторожъ съ письмомъ отъ сестры милосердія, гдѣ его превосходительство просили прислать чаю, такъ какъ въ больницѣ для платящихъ чаю не полагается. Петръ Васильевичъ купилъ чаю и поѣхалъ къ теткѣ.

— Охъ, родной, прости, что побезпокоила! Два дня все поджидала... Не хотѣлось просить сестру милосердія писать къ тебѣ... не хочу, чтобы знали, что твоя тетка безграмотная... мнѣ-то самой что... а вотъ тебя не хочу конфузить... И то сказала, что рука дрожить, такъ потому не могу писать... Ну, спасибо, что при-

везъ чайку старушонкѣ... Теперь, кажется, ничего больше не надо...

Съ полчаса Петръ Васильевичъ просидѣлъ у тетки. При выходѣ изъ ея номера онъ былъ остановленъ сестрой милосердія.

— Пожалуйста, навѣщайте нашу больную, а то она такъ скучаетъ. Мы ужъ ей и книги предлагали, но она плохо видитъ, хотя и хотѣлось бы ей почитать... ей очки бы нужно...

— Да, да, я куплю, — въ смущеніи пробормоталъ Петръ Васильевичъ, поспѣшно раскланиваясь съ сестрой милосердія.

На слѣдующій день онъ не поѣхалъ къ теткѣ. Но уже вечеромъ его начали мучить вопросы:

— Не надо ли ей еще чего-нибудь? Не станетъ ли она опять просить за нее писать письмо? Не станутъ ли говорить въ больницѣ, что онъ бросилъ и забылъ свою родственницу? Главный докторъ служитъ съ нимъ въ одномъ вѣдомствѣ и можетъ чортъ знать что выдумать про него. Скверно тоже, если поразспросятъ ее; онъ вездѣ говорятъ о своей «фамилии», о своемъ «родѣ», а тутъ

вдругъ...

Онъ провелъ очень тревожно ночь и на слѣдующій день уже около полудня былъ у тетки.

— Ахъ, дорогой мой, не забылъ старуху, — говорила больная. — Я такъ и знала, что пріѣдешь. Я такъ и Аннѣ Павловнѣ Троцинской вчера говорю: «Знаю, что не оставитъ такъ тетку, что навѣдается».

— Гдѣ вы видѣли Анну Павловну? — удивился Петръ Васильевичъ, услышавъ имя и фамилію одной знакомой аристократки-благотворительницы.

— Тутъ съ сосѣдкой я познакомилась, — отвѣтила больная: — а къ ней и пріѣхала самая эта Троцинская. Ну, спросила о фамилии, о тебѣ заговорила... «Родня, говорю, и благодѣтель... Нашу, говорю, хлѣбъ-соль помнить... Еще молодымъ человѣкомъ гостилъ у насъ... Молочкомъ отпаивался... Важный, говорю, теперь человѣкъ... Государствомъ ворочаетъ». «Знаю, знаю, говоритъ. Это ему честь дѣлаетъ, что старушку-родственницу бережетъ...»

— Не надо ли вамъ чего? — спросилъ

Петръ Васильевичъ, перебивая больную.

Въ его головѣ мелькала мысль о томъ, не жаловалась ли на что-нибудь, не просила ли чего-нибудь старуха.

— Охъ, ничего мнѣ не надо! Долго ли мнѣ и жить-то, — вздохнула больная. — Вотъ только дни-то теперь такіе, великій постъ, поученье мнѣ какое-то принесла сестра милосердія. «Почитайте, говоритъ. Это крупно напечатано и съ слабыми глазами можно разобратъ». Ну, а что я разберу, когда я грамоты не знаю. Не прочтешь, спрашивать будутъ, сочтутъ за басурманку. Признаться-то, что читать не умѣю, — тебя, голубчика, оконфузить не хочется... Люди-то злы, скажутъ: «Вонъ у него какая тетка, изъ простыхъ, вѣрно, грамоты не знаетъ. Видно, семья-то ихъ вся изъ грязи выльзла». Охъ, злы люди, злы... А почитать некому... Вонъ и книжка-то не длинная, такъ, поученье пастырское...

Петръ Васильевичъ взялъ брошюру, повертѣлъ ее въ рукахъ, пробормоталъ что-то о томъ, что «это, вѣроятно, пустяки какіе-нибудь», что «и сюда ханжи втерлись», и не то нерѣшительно, не то небрежно проговорилъ:

— Я, пожалуй, прочту вамъ.

Ему было и досадно, и неловко взяться за роль чтеца священныхъ книгъ.

— Прочти, прочти, дорогой мой! — сказала тетка и приподнялась на локтѣ.

Началось чтеніе поученія. Больная вздыхала и крестилась. Сцена дѣлалась все болѣе и болѣе комичною.

— Вотъ такъ-то твой покойникъ дядя мнѣ читалъ, — бормотала тетка среди чтенія. — И хорошо ты читаешь, съ плавностью!.. Только мы другія книги читали. Этой не читали. То было про Кузьму Рощина, про Юрія Милославскаго, про Давида Коперфильда, тоже про Ревекку Шарпъ. Я тутъ съ сосѣдкой про эти книги говорила; она тоже читала...

Наконецъ, Петръ Васильевичъ кончилъ чтеніе и поспѣшилъ ухвать. Онъ былъ взволнованъ, раздраженъ и самъ смѣялся надъ собою...

— Нѣтъ, это чортъ знаетъ, что со мной дѣлается, — бормоталъ онъ дорогою, сдвигая брови. — Въ чтецы еще къ ней приходятся опредѣлиться. И еще она же одобряетъ. Съ плавностью читаешь! Этого недоставало!.. Но

что же дѣлать-то, дѣлать-то что?... Бросить ее, оборвать ей крылья то... А что говорить-то она станетъ?.. Языкѣ-то у нея безъ костей... Это чортъ знаетъ что такое!..

— Ахъ, а я въ васъ новыя достоинства открыла, — говорила ему черезъ день Анна Павловна Трощинская, встрѣтивъ его въ одномъ домѣ. — Вы не только милый салонный говорунъ, но и добрый родственникъ. Я познакомилась съ нашей тетей. Милая старушка... Слышала, какъ вы у нея почти росли въ домѣ, гащивали въ деревнѣ у доброй старосвѣтской помѣщицы. Это мило, что вы заботитесь о старикахъ. Впрочемъ, она и стоитъ того, такая ласковая и тихая... обожаетъ васъ...

Въ другомъ салонѣ главный докторъ больницы для платящихъ говорилъ Петру Васильевичу:

— Я очень радъ, что могъ помочь вашей тетушкѣ. Она теперь быстро станетъ поправляться. Но я совѣтую вамъ свезти ее на дачу куда-нибудь въ Петергофъ или Ораніенбаумъ. Если она останется здѣсь, то болѣзнь можетъ повториться. Меня, признаюсь, даже удивилъ этотъ упадокъ силъ. Всѣ симптомы долгаго

голоданія и...

— Да, да, — поспѣшно перебилъ доктора Дерюгинъ-Смирницкій:— все наши милые посты и богомолья... Но я теперь прекращу эти бдѣнія и постныя масла.

— Да, это надо непременно прекратить, — говорилъ докторъ.

Люди, совсѣмъ не знавшіе Аглаи Ивановны, но желавшіе подслужиться къ чиновному лицу, имѣвшему большія связи, считали теперь долгомъ спрашивать у Петра Васильевича:

— Мы слышали, что у васъ опасно больна ваша тетушка. Ну, что ея здоровье теперь?

И Петръ Васильевичъ чувствовалъ, что онъ уже не можетъ теперь отвертѣться отъ старухи-родственницы, что волей-неволей ему приходится нянчиться съ нею. Правда, Петръ Васильевичъ, взявъ ее изъ больницы на время въ свой домъ, пытался освободиться отъ нея, говоря, что ему не удобно держать ее у себя, но она сейчасъ же покорно соглашалась съ нимъ и замѣчала:

— Ужъ гдѣ же тебѣ, дорогой мой, возиться со мною, старушонкой! Ну, найми мнѣ уголо-



къ, а прокормиться кое-какъ теперь прокормлюсь. Вотъ и Анна Павловна Трощинская, и генеральша Мусатова приглашаютъ все къ себѣ. Я, старушонка, тамъ да здѣсь погощу и буду сыта... обносочки тоже какіе-нибудь подарятъ.

— Ахъ, что вы говорите! Развѣ это возможно! при моемъ положеніи въ свѣтѣ! Не носили бы вы моей фамиліи, тогда мнѣ и дѣла бы не было до того, какъ вы живете, гдѣ попрошайничаете. Но вы вспомните, что вы носите мою фамилію! — восклицаль нетерпѣливо Петръ Васильевичъ.

И точно: вѣдь онъ былъ не какой-нибудь Ивановъ или Ефремовъ, а Дерюгинъ-Смирницкій; Дерюгиныхъ же-Смирницкихъ только и было въ Россіи, что онъ да она, жена его дяди, отставная царица театральны-хъ подмостковъ.

Такъ и прожила она всю жизнь, ничего не дѣлая и благосклонно принимая услуги окружающихъ.

### III

## Членъ общества

Мнѣ навязали хлопоты по дѣлу о покупкѣ одного имѣнія въ одномъ изъ поземельныхъ банковъ. Я вспомнилъ, что одинъ изъ моихъ старыхъ знакомыхъ, генераль, Алексѣй Николаевичъ Казанцевъ, находящійся не у дѣлъ въ государственной службѣ и только числящійся гдѣ-то, состоитъ членомъ правленія этого поземельнаго банка. Я поѣхалъ къ нему за справками на домъ. Меня встрѣтилъ привѣтливо, какъ стараго знакомаго, его камердинеръ и сказалъ:

— Генераль занимается.

По лицу степеннаго старика скользнула какая-то неопредѣленная усмѣшка.

— Такъ передайте ему мою карточку, — сказалъ я, передавая визитную карточку.

— Хорошо-съ, — отвѣтилъ камердинеръ и тотчасъ же прибавилъ:— да вы обождите минутку, можетъ-быть, и примутъ васъ-то.

— Нѣтъ, зачѣмъ же отрывать отъ дѣла, — сказалъ я.

— Ничего-съ! Я доложу! — проговорилъ камердинеръ съ тою же усмѣшкой и пошелъ докладывать.

Черезъ минуту онъ воротился.

— Просятъ въ рабочій кабинетъ! — проговорилъ онъ.

Я направился къ кабинету. Навстрѣчу мнѣ уже шелъ молодцоватою походкою плотный, высокій человекъ, въ синихъ панталонахъ съ красными лампасами и въ бархатномъ щеголеватомъ пиджакѣ. Черные завитые волосы, свѣжій цвѣтъ лица, быстрыя движенія, веселая улыбка, — все это дѣлало его крайне молодежавымъ. Это былъ Алексѣй Николаевичъ Казанцевъ.

— Очень радъ, очень радъ видѣть васъ! — быстро заговорилъ онъ, дѣлая мнѣ уже издали привѣтливый жестъ рукою. — Какъ нельзя болѣе кстати завернули. Дадите совѣтъ, посмотрите...

— Готовъ служить, тѣмъ болѣе, что и самъ хочу просить вашего добраго совѣта, — отвѣтилъ я, пожимая протянутую мнѣ руку.

Я переступилъ порогъ генеральскаго рабочаго кабинета, въ которомъ я былъ впервые,

и остановился въ недоумѣніи. Весь кабинетъ былъ заставленъ, заваленъ и загроможденъ шкапами и этажерками, съ древнимъ оружіемъ, съ костюмами разныхъ націй, съ гипсовыми головками и торсами; на полу валялись шелковыя драпировки, куски дорогихъ кружевъ, какіе-то римскіе сосуды; окна были снизу закрыты темными заставками, посрединѣ комнаты стоялъ мольбертъ съ начатой картиной, черезъ кабинетъ тянулась плотно задернутая драпировка изъ тяжеловѣсной старинной ткани.

— Смотрите, критикуйте, браните, но только не отдѣльвайтесь банальными похвалами! — весело сказалъ хозяинъ, вводя меня въ рабочую комнату. — Я, видите ли, фантазирую: изображаю Клеопатру въ минуту ея смерти...

Я подошелъ къ картинѣ. На полотнѣ, большихъ размѣровъ, была уже вполнѣ написана во весь ростъ голая женщина, приложившая къ груди змѣю. Богатая обстановка, цвѣты, масса тканей окружали красавицу-царицу. Картина была недурна, немного фривольна, немного пикантна: на Клеопатрѣ не доставало

одежды, точно она не успѣла прикрыться послѣ купанья.

— Ну, что? — спросилъ хозяинъ.

Я сдѣлалъ нѣсколько замѣчаній.

— А тѣло? Вѣдь, кажется, живое? — спросилъ онъ, заглядывая мнѣ въ глаза, какъ страстный художникъ, желающій угадать за-таенное мнѣніе строгаго критика.

— Да... гдѣ вы добыли такую роскошную натуру? — спросилъ я.

Хозяинъ какъ-то неопредѣленно повертѣлъ рукой въ воздухъ около лба.

— Фантазія, фантазія, mon cher! — проговорилъ онъ. — Юное воображеніе создаю!.. Подсказали воспоминанія... Кое-что добавилъ отъ себя...

— Воображеніе у васъ очень вѣрно природѣ, замѣтилъ я. — Мнѣ остается только удивляться, когда у васъ хватаетъ времени на искусство при массѣ вашихъ сухихъ практическихъ занятій.

— А! Вѣдь я это долго работалъ, урывками, минутами. Это мой отдыхъ! Полчаса, часъ въ день — вотъ и весь отдыхъ! — говорилъ хозяинъ, вздыхая, какъ человекъ, сильно занятый

и сожалѣющей о недостаткѣ свободнаго времени. — Вы курите?

— Если позволите!

— О, пожалуйста, пожалуйста!

Онъ подалъ мнѣ папиросы и спички.

— Такъ хорошо?

— Очень хорошо!

— А ваши замѣчанія я приму къ свѣдѣнію!

Вы правы, что драпировокъ слишкомъ много и потому мало воздуха. Теперь я понимаю, отчего мнѣ все казалось, что это нѣсколько тяжеловато... Да, да, вотъ тутъ убавить драпировки, просвѣтъ сдѣлать... Это правда...

Онъ смолкъ и залюбовался своею картиною;

— А я пріѣхалъ къ вамъ не безъ цѣли, — сказалъ я. — Есть дѣло.

— Недобрый человекъ: безъ дѣла и не заглянулъ бы? — любезно замѣтилъ хозяинъ. — Но все же радъ, что хоть дѣло привело васъ сюда!

— Мнѣ хотѣлось бы узнать нѣкоторыя подробности объ имѣніи наслѣдниковъ Миклашевскихъ, — сказалъ я.

Алексѣй Николаевичъ сдѣлалъ серьезное

лицо дѣловаго челоуѣка.

— Да, это дѣло не заслушано еще въ судѣ... Тяжба тамъ, — сказалъ онъ.

— Тяжба? — спросилъ я.

— Да... Кто-то изъ нихъ что-то тамъ оспариваетъ, — отвѣтилъ онъ, смотря на меня уже съ недоумѣніемъ.

— А я и не зналъ, что у Миклашевскихъ идетъ дѣло въ судѣ...

— Да, братъ, кажется, что-то говорилъ, что это въ его отдѣленіи, — сказалъ хозяинъ. — Миклашевскіе или Малышевы... помню что-то такое...

— Нѣтъ, вы, вѣроятно, спутали фамилію... Имѣніе Миклашевскихъ заложено у васъ въ банкѣ...

— А, да, да, да! — перебилъ меня хозяинъ. — Они его выкупаютъ... просили, чтобы не въ очередь...

— Нѣтъ, оно назначено въ продажу, — сказалъ я.

— Въ продажу?.. — съ недоумѣвающимъ видомъ повторилъ онъ. — Ну да, сперва они хотѣли выкупить, а потомъ увидали, что не стоитъ, такъ какъ имѣніе дрянъ, и рѣшили

продать его... Да, да, въ продажу оно назначено.

— Мнѣ поручили купить его, — сказалъ я.

— Да? Что-жъ, и прекрасно, покупайте? Пріѣзжайте въ правленіе. Тамъ вамъ все скажутъ.

Какъ я ни добивался, я ничего не узналъ отъ Алексѣя Николаевича относительно имѣнія Миклашевскихъ. Онъ не зналъ ни о какихъ обезцѣнивающихъ это имѣніе контрактахъ и арендахъ, ни о какихъ препритательствахъ по поводу этого имѣнія между наслѣдниками, ни о чемъ, что онъ, повидимому, долженъ бы былъ знать, какъ членъ правленія банка, гдѣ это имѣніе дѣлало не мало хлопотъ и возбуждало много переписки въ теченіе послѣднихъ двухъ лѣтъ.

Другой разъ случай привелъ меня опять къ Алексѣю Николаевичу. Я былъ избранъ въ одномъ благотворительномъ обществѣ въ попечители богадѣльни, въ которой и Алексѣй Николаевичъ былъ тоже попечителемъ. Я попалъ къ Алексѣю Николаевичу въ его пріемный день. Входя въ пріемную комнату, я засталъ съ десятокъ просителей, стоявшихъ



смиренно у стѣны. Алексѣй Николаевичъ въ военной генеральской формѣ съ серьезнымъ и дѣловымъ видомъ говорилъ съ каждымъ по очереди. Онъ былъ неузнаваемъ: его осанка была важна, лицо было строго, голосъ довольно суровъ и отрывистъ.

— Bonjour! — проговорилъ онъ, увидѣвъ меня. — Пройдите въ мой рабочій кабинетъ, я сейчасъ кончу.

Я прошелъ въ кабинетъ. Тамъ теперь стояла на мольбертѣ новая картина: изгнаніе Евы и Адама изъ рая. Картина была только-что начата. Я усѣлся передъ нею и закурилъ папиросу, изъ пріемной раздавался голосъ Алексѣя Николаевича:

— Обратитесь къ секретарю! Я-съ этимъ не занимаюсь, это возложено на секретаря нашего комитета. Онъ вамъ сдѣлаетъ, что нужно... Да, не могу-съ, не могу, это тамъ все дѣлается по порядку, на основаніи правилъ и циркуляровъ нашего общества... У насъ уставъ и нужно дѣйствовать сообразно съ нимъ... Прочтите уставъ и вы увидите, что можно и чего нельзя...

Въ этомъ родѣ фразы сыпались съ устъ

Алексѣя Николаевича передъ каждымъ посетителемъ. Сидя въ кабинетъ, я слышалъ, кромѣ его рѣчей, какой-то неясный шорохъ за драпировкой, и мнѣ показалось, что она шевелится. Наконецъ, хозяинъ вошелъ въ кабинетъ.

— Вы не повѣрите, до чего меня утомляютъ эти пріемные дни, — сказалъ онъ, разстегивая сюртукъ и тяжело вздыхая. — Всѣ идутъ ко мнѣ, точно я Богъ всемогущій, и по тому, и по другому дѣлу... Вѣдь понимаете, у меня столько дѣлъ, столько дѣлъ на рукахъ... Не могу же я разорваться...

— Да, вы, кажется, состоите членомъ столькохъ учрежденій? — спросилъ я.

— Ахъ, членъ семидесяти комиссій, обществъ, клубовъ, собраній и еще чего-то, — весело засмѣялся онъ, закуривая папиросу. — Нѣтъ, право же, это мнѣ надоѣло! Дайте мнѣ отдохнуть, дайте духъ перевести!.. Вотъ взгляните!

Онъ указалъ на грудѣ печатныхъ листовъ.

— Что это?

— Повѣстки и приглашенія на общія собранія, засѣданія, обѣды и ужины, — пояс-

ниль онъ. — Я-съ, батенька, въ трехъ комиссіяхъ предсѣдательствую, въ двухъ распорядительныхъ комитетахъ состою членомъ, въ пяти благотворительныхъ обществахъ состою попечителемъ, гдѣ-то кого-то реви-зую... А la fin des fins я не знаю иногда, куда ѣхать, и потому не ѣду никуда. Это вѣдь, на-конецъ, утомительно, невыносимо!

Онъ походилъ по комнатѣ.

— А вы обратили вниманіе на мою новую раббту? — спросилъ онъ, спустя минуту.

— Какъ же! Смотрѣлъ все время! — отвѣтилъ я. — Граціозная вещь выйдетъ.

— Да? — весело проговорилъ онъ. — Мнѣ тоже казалось! Немного во французскомъ вкусѣ. Это мнѣ, кажется, удастся. Досадно только, что приходится часто отрываться... Я, право... какъ бы это сказать... J'ai manqué ma vocation. Mon fort, t'est la peinture, а я, какъ видите-съ, членъ, членъ... и больше ничего...

— Кстати о членствѣ. Я выбранъ вашимъ товарищемъ по попечительству въ Воздвиженской богадѣльнѣ,- сказалъ я.

— Право? C'est charmant, c'est charmant! — обрадовался онъ и даже пожалъ мнѣ очень

крѣпко руку. — Такъ вы уже дѣлайте, голубчикъ, что тамъ надо! Я былъ тамъ разъ, старики эти и старухи такая ветошь. Маѳусаилы какіе-то; какія-то тряпки на всѣхъ, пахнетъ чѣмъ-то такимъ... чортъ знаетъ, чѣмъ пахнетъ... Это отлично, что теперь вы тамъ... Это, знаете, все провѣтрить надо, вычистить... Чисто Авгіевы конюшни... Да, кстати, вы, пожалуйста, осторожнѣе дѣйствуйте, меня уже наказали тамъ...

— Какъ такъ? — спросилъ я.

— Да кто-то укралъ тамъ что-то, а можетъ-быть, и не укралъ вовсе. Que sais-je? Знаю только, что сказали, что украли и что я долженъ пополнить что-то. Ну, я далъ тамъ сколько-то, пополняли, но вѣдь это непріятно, это разорительно... Такъ вы осторожнѣе съ этими, какъ ихъ тамъ зовутъ, экономами, что ли...

— А развѣ это экономъ укралъ?

— Да я не знаю, кто: экономъ, экономка, смотритель, сторожъ... Украли просто что-то и нужно было уплатить — отъ и все... Ну, да все это глупости. Люди хотятъ ѣсть — вотъ и все... Я возвращаюсь опять въ своей картинѣ.

Какъ вы думаете, не сухъ ли будетъ пейзажъ? Не голо ли? Я боялся опять загромоздить аксессуарами главную группу... Вы мнѣ тогда задали головомойку за драпировки!.. Мнѣ кажется, тутъ важнѣе всего прозрачный южный воздухъ, теплота освѣщенія... Кстати, вы не повѣрите, до чего тяжело писать при нашемъ воздухѣ, при нашихъ вѣчныхъ сумеркахъ... Вотъ ужъ истинно несчастная мысль построить здѣсь, въ этой Ингерманландіи столицу... Я часто думаю, насколько бы мы ушли впередъ, если бы тогда была взята не Ингерманландія, а Константинополь... Босфоръ, близость Греціи, синее небо юга... А! теперь трудно и представить, куда бы мы ушли тамъ...

Я опять ничего не могъ добиться у него по дѣлу попечительства надъ богадѣльней.

— Видѣли-съ, сударь? — съ таинственной улыбочкой спросилъ меня камердинеръ, когда я вышелъ отъ генерала.

— Что? — спросилъ я.

— Картину-то.

— Видѣль!

— А жидовку показывали-съ?

— Какую жидовку?

— А съ которой праматерь-то рисуютъ...

— Нѣтъ, не видалъ.

Старикъ покачалъ головой.

— За драпировку, вѣрно, спрятали! — сообщалъ онъ. — Прячуть-съ! Все говорятъ: это я изъ головы! А чего изъ головы, когда каждый день, въ самомъ, то-есть, растерзанномъ видѣ жидовка передъ нимъ сидитъ. Баловство какое завелось! И какой-то баринъ еще ѣздитъ, тоже на нее смотритъ да подрисовываетъ. Деньги ему за это платятъ. А срамота одна! Совсѣмъ не барское дѣло, голую бабу у себя въ кабинетѣ по цѣлымъ часамъ держать...

Я понялъ, почему мнѣ казалось, что драпировка въ кабинетѣ шевелится.

\* \* \*

Алексѣй Николаевичъ Казанцевъ происходилъ изъ богатой семьи и уже въ дѣтствѣ слылъ «красавчикомъ». Воспитанный въ одномъ изъ привилегированныхъ учебныхъ заведеній, онъ рано вышелъ въ офицеры и примкнулъ въ кружку тогдашней «золотой молодежи». Съ этой минуты кончились его

занятія и началась привольная жизнь, полная самыхъ громкихъ похощденій, самыхъ баснословныхъ кутежей. Первый танцоръ на балахъ, первый кандидатъ въ любовники среди дамъ, онъ былъ извѣстенъ всему Петербургу. За него на одномъ изъ пикниковъ подрались важныя барыни; его хотѣлъ убить чей-то мужъ, но дуэль была во-время остановлена; ему разъ пригрозили, что его отправятъ «за шалости» на Кавказъ, но какая-то бабушка спасла его отъ этой невзгоды. Служака онъ былъ плохой, но все-таки, по очереди и при помощи связей, онъ дотянулъ до генеральскаго чина и въ этомъ чинѣ былъ куда-то причисленъ, хотя занятій никакихъ не получилъ. Но у него было достаточно и частныхъ занятій. Въ качествѣ богача, онъ былъ акціонеромъ разныхъ обществъ, въ качествѣ человека со связями, онъ выбирался въ члены разныхъ филантропическихъ учрежденій, въ качествѣ покровителя наукъ и искусствъ, онъ сдѣлался членомъ разныхъ ученыхъ и художественныхъ обществъ. Списокъ обществъ, гдѣ онъ состоялъ почетнымъ, непремѣннымъ или пожизненнымъ членомъ

мъ, могъ бы занять не одну страницу. Покровительствовать онъ былъ готовъ всѣмъ и всему: открывался новый клубъ, онъ хлопоталъ о разрѣшеніи устава этого клуба; учреждалась ученая экспедиція, онъ давалъ деньги и тоже хлопоталъ объ ея устройствѣ; нужно было составить коммерческое предпріятіе — и здѣсь онъ забрасывалъ словцо о концессіи или выбирался въ члены какой-нибудь ревизіонной комиссіи, какъ лицо съ положеніемъ въ свѣтѣ и съ солиднымъ чиномъ. Хлопоты его всегда ограничивались тѣмъ, что онъ замолвить кому надо словцо, устроить для кого надо свиданіе съ нужнымъ лицомъ, дать кому слѣдуетъ обѣдъ во-время. Дальше этого его заботы не шли. Съ теченіемъ времени число разныхъ собраній, комиссій, засѣданій, комитетовъ, ревизій, гдѣ онъ принималъ участіе, все росло и росло и, наконецъ, дѣло дошло до того, что Алексѣю Николаевичу приходилось бы работать по двадцать четыре часа въ сутки ежедневно, если бы онъ вздумалъ только бѣгло прочесть тѣ бумаги, доклады, протоколы и постановленія, къ которымъ ему нужно было прилагать



свою подпись. А у него, кромѣ этихъ «дѣлъ», были ежедневно завтраки у знакомыхъ, обѣды по подпискѣ, ужины у Бореи и Дюссо, выѣзды на балы и на спектакли, пикники и занятія живописью, къ которой онъ пристрастился съ тѣхъ поръ, какъ увидалъ у одного художника натурщицу-еврейку. Эта натурщица и этотъ художникъ, писавшій за него большую часть его картинъ, отнимали у него не мало времени. Вслѣдствіе этого онъ долженъ былъ только подписывать дѣла, не провѣряя ихъ, не зная ихъ, не читая ихъ. Тѣмъ не менѣе, Алексѣй Николаевичъ имѣлъ почти всегда дѣловое, озабоченное и серьезное выраженіе лица и былъ постоянно на чеку, точно онъ постоянно собирался совершить что-то важное, нетерпящее отлагательства. Мягкій, какъ всѣ женолюбцы, и благодушный, какъ всѣ сытые съ колыбели люди, онъ умѣлъ быть строгимъ съ служащими и иногда нагонялъ страхъ на нихъ за бездѣятельность. Разъ я присутствовалъ при подобной сценѣ.

— Я васъ держу за-тѣмъ, чтобы вы дѣло дѣлали! — кричалъ онъ на одного изъ своихъ

служащихъ. — Я не люблю-сь неаккуратныхъ людей, мнѣ не нужны манкирующие своими обязанностями служащіе! Я самъ-съ занятъ съ утра до ночи и потому не потерплю упущеній! У меня сотни дѣлъ и я успѣваю, а вы за однимъ сидите и не можете поспѣть вовремя. Вы по мѣсяцамъ тянете дѣла, которыя можно сдѣлать въ день! Если вамъ не угодно служить, какъ слѣдуетъ, — подавайте-сь въ отставку! На такія мѣста, какъ ваше, есть сотни кандидатовъ!

Служащій бормоталъ какія-то оправданія.

— Мнѣ-съ не извиненія нужны, мнѣ нужны факты вашей дѣятельности! — горячился Алексѣй Николаевичъ. — Кто беретъ на себя извѣстныя обязанности, тотъ долженъ строго исполнять свой долгъ. Обязанностей никому не навязываютъ насильно. Я въ послѣдній разъ дѣлаю вамъ это замѣчаніе!

Когда служащій удалился, Алексѣй Николаевичъ долго еще не могъ успокоиться.

— Вы не можете представить, что это за народъ, — говорилъ онъ мнѣ, ходя по комнатѣ. — Получаютъ жалованье и бьютъ баклуши! Никакого чувства долга, никакого

сознанія важности своихъ обязанностей! Они бьютъ баклуши, они дармоѣдничаютъ, а я одинъ, я не могу услѣдить за всѣми! На дняхъ баронесса фонъ-Таубе упрекаетъ, что я не опредѣлилъ еще ея protégé въ училище. Вы вѣдь знаете ее — насядетъ, такъ не скоро отдѣлаешься отъ нея! А этотъ господинъ, изволите ли видѣть, заложилъ дѣло объ этомъ мальчикѣ подъ сукно. Вы понимаете, насколько непріятно выслушивать жалобы женщины, и притомъ хорошенькой женщины...

Онъ усмѣхнулся лукавой и двусмысленной улыбкой и тотчасъ же прибавилъ съ серьезнымъ видомъ:

— Впрочемъ, вы не думайте, что тутъ личико баронессы играло роль! Нѣтъ, но вы понимаете, если дѣло по просьбѣ баронессы исполняется такъ плохо, то какъ же затягиваются дѣла простыхъ смертныхъ, не имѣющихъ прямыхъ сношеній со мною. Вѣдь если ея дѣло положили подъ сукно, то дѣла разной бѣдноты, которая имѣетъ несчастіе de tomber sous la patte какого-нибудь изъ этихъ господъ, и вовсе бросаются. Я это хочу вывести, я

слѣжу, я докапываюсь. Но вѣдь я одинъ, я одинъ, а ихъ, этихъ господъ служащихъ, у меня десятки, сотни!

Онъ опять тревожно заходилъ по кабинету.

— Да, я иногда удивляюсь, какъ вы успѣваете справляться со всѣми дѣлами, — замѣтилъ я.

— А! привычка, *mon cher*, привычка! — пожалъ плечами Алексѣй Николаевичъ. — Я дѣлаю въ минуту то, на что другой потратитъ часъ. Глазъ приглядѣлся, рука набилась! Потомъ я занимаюсь ночью, замыкаюсь у себя въ кабинетъ одинъ. Я знаю, что это мнѣ вредно, но что же вы станете дѣлать! Кромѣ того, *je suis un homme d'habitude*, у меня все рассчитано, все совершается въ извѣстные часы. Я не могу быть безъ дѣла, не могу просрочить часу, или у меня все пойдетъ *à tort et à travers*. Вся ошибка людей не въ лѣни, а въ неумѣньѣ распредѣлить время, быть точными, но откладывать ничего, что надо сдѣлать сейчасъ... А кстати! Вы куда отъ меня?

— Домой! — отвѣтилъ я.

— Такъ я васъ подвезу! Я ѣду въ засѣданіе

общества страхованія отъ саранчи.

— А вы и тамъ членъ?

— Мой другъ, гдѣ же я не членъ! — разсмѣялся Алексѣй Николаевичъ. — Меня треплютъ, разрываютъ на клочки... Но, *entre nous*, я усталъ, усталъ!.. Хотѣлось бы отдохнуть, пожить для себя, отдаться живописи... Но что же вы прикажете дѣлать, если нѣтъ людей, нѣтъ дѣловыхъ серьезныхъ умовъ, нѣтъ честныхъ гражданъ!.. На одного взваливаютъ, какъ на вола, сотни дѣлъ и обязанностей, а другіе бьютъ баклуши, пользуются жизнью, пожинаяютъ плоды чужого труда. Тяжелое время мы переживаемъ: вы представьте себѣ, что я изъ-за общественныхъ обязанностей не могъ самъ слѣдить за дѣтьми, жить семейною жизнью, а семья — о, это великое слово!.. Мы теперь живемъ въ такія времена, когда нужно поддерживать семью, нужно строго воспитать въ ней юношество, нужно сдѣлать ее оплотомъ противъ разныхъ заблужденій... Но долгъ гражданина прежде всего.

Въ этомъ духѣ Алексѣй Николаевичъ говорилъ всю дорогу до моего дома, и его лицо

приняло нѣсколько мрачное выраженіе, точно у него творилось что-то скверное на душѣ во время этихъ толковъ о семейномъ очагѣ.

\* \* \*

Этотъ очагъ у Алексѣя Николаевича былъ. Но, Господи, что это былъ за очагъ.

Алексѣю Николаевичъ не женился, но его женили, чтобы спасти его отъ какой-то надшей женщины, забравшей со въ руки, чтобы остепенить его отъ кутежей, чтобы увеличить его состояніе, чтобы сдѣлать еще болѣе прочныя связи въ свѣтѣ. Александра Ивановна Бѣлопольская, — такъ звали невѣсту Алексѣя Николаевича — тоже не выходила за него замужъ, а выдавалась за него, потому что ее нужно было выдать замужъ одному высокопоставленному лицу того времени. Съ перваго же дня супружества молодые зажили на двѣ половины въ роскошномъ домѣ, а черезъ нѣсколько мѣсяцевъ — этихъ мѣсяцевъ было очень мало — у нихъ явилось въ домѣ три отдѣленія: отдѣленіе мужа, отдѣленіе жены и отдѣленіе ребенка съ его мамкой, англичанкой и штатомъ прислуги. Иногда мужъ и жена не видались по цѣлымъ днямъ и порой

мужъ, отправляясь къ женѣ, узнавалъ, что у нея находится въ гостяхъ одинъ изъ ея вліятельныхъ родственниковъ, и круто поворачивалъ назадъ, отрывисто приказывая лакею подать карету: не попавъ къ женѣ, онъ ѣхалъ къ прежней любовницѣ. Иногда жена не выходила изъ своей половины, приказывая сказать мужу, что у нея мигрень, но въ эти дни выдавшій ее замужъ вліятельный родственникъ имѣлъ доступъ къ молодой женщинѣ, несмотря на ея мигрень. Ходилъ даже такой анекдотъ, что одинъ изъ старыхъ свѣтскихъ остряковъ, услыхавъ отъ Алексѣя Николаевича, что у Александры Ивановны мигрень, съ наивнымъ видомъ замѣтилъ:

— А я его встрѣтилъ, кажется, на лѣстницѣ.

Онъ встрѣтилъ уходившаго отъ Александры Ивановны ея вліятельнаго родственника.

Впрочемъ, небеса благословили этотъ союзъ и въ дѣтяхъ недостатка не было. Два сына и двѣ дочери родились у Казанцевыхъ въ теченіе какихъ-нибудь восьми лѣтъ супружеской жизни и были сданы на руки нянекъ, мамокъ, гувернантокъ, гувернеровъ и слугъ, такъ какъ у Алексѣя Николаевича были на

рукахъ общественныя обязанности, а Александра Ивановна должна была, по своему положенію, поддерживать свѣтскія связи. Такимъ образомъ мужъ и жена или ѣздили по цѣлымъ днямъ, или принимали на своихъ половинахъ гостей. Они знали, что у нихъ были дѣти, и дѣти знали, что у нихъ были родители, потому что дѣти каждое утро обязаны были приходять къ родителямъ и говорить:

— Bonjour, maman! Bonjour, papa!

Нѣсколько ближе узнали родители старшаго сына, когда онъ не могъ выдержать никакуда экзамена и долженъ былъ опредѣлиться въ одинъ изъ конныхъ гвардейскихъ полковъ вольноопредѣляющимся. Еще ближе узнали они его, когда имъ предъявили векселей на тридцать тысячъ. Между отцомъ и сыномъ послѣдовало крупное объясненіе въ нѣсколько вульгарномъ тонѣ:

— Тебѣ еще учиться, а не кутить нужно! — горячился отецъ.

— А я думаю, что мнѣ нужно жить, пока я молодъ, — отвѣтилъ сынъ. — Вы живете, мама живеть, значить, и я хочу жить.

— Я откажусь за тебя платить долги, я это



въ газетахъ напечатаю, — сказалъ отецъ.

— Вы знаете, что крестный отецъ положи-  
лъ на мое имя независимый капиталъ, —  
отвѣтилъ сынъ. — Я трачу не ваши деньги.

Крестнымъ отцомъ юноши былъ тотъ  
влиятельный родственникъ, посѣщенія кото-  
раго къ Александръ Ивановнѣ совпадали съ  
посѣщеніемъ мигрени.

— Я все знаю, но мотать тебѣ не позво-  
лю! — крикнулъ отецъ.

— Я, рара, кажется, и не просилъ на это  
позволенія, — отвѣтилъ сынъ.

— Вонъ! — крикнулъ отецъ.

— Гдѣ это вы научились такъ кричать! —  
сказалъ сынъ, пожимая плечами и удаляясь  
изъ комнаты.

Послѣ этого объясненія послѣдовало  
объясненіе родителей между собою. Отецъ  
назвалъ сына идиотомъ, болваномъ, сказалъ,  
что въ фамиліи Казанцевыхъ не было нико-  
гда такихъ глупцовъ и невѣждъ, на что мать  
съ ироніей отвѣтила, что, вѣроятно, сынъ не  
имѣетъ никакихъ общихъ чертъ съ этой  
фамиліей, кромѣ страсти къ кутежамъ и  
праздности.

— Потому что, вы, конечно, не станете отрицать, что эти качества онъ наследовать отъ васъ, — закончила она.

Долги сына, однако, заплатились, заплатились и еще новые векселя, выданные имъ, и дѣла пошли обычнымъ порядкомъ.

Но наученный опытомъ отецъ поспѣшилъ отдать въ закрытое заведеніе младшаго сына и просилъ начальство заведенія держать юношу въ строгости. Повидимому, все пошло хорошо: юноша былъ запертъ въ училищѣ по цѣлымъ недѣлямъ, онъ находился подъ надзоромъ учителей и начальниковъ, его окружала привилегированная молодежь, онъ обязательно приготовлялъ уроки, онъ аккуратно переходилъ изъ класса въ классъ. Отецъ былъ спокоенъ за его участь.

— Да, правильное образованіе много значитъ, — говорилъ онъ. — Какъ бы ни воспитывали дѣтей дома, а все-таки дома нѣтъ той правильности, той дисциплины, которая господствуетъ въ учебныхъ заведеніяхъ. Дома всегда бываютъ поблажки, меньше строгости, меньше страха. Я Сержемъ очень, очень доволенъ!

И дѣйствительно, Сержъ росъ приличнымъ, выдрессированнымъ, серьезнымъ мальчикомъ. Онъ держалъ себя умѣло, чинно, ловко и немного свысока относился ко всѣмъ. Я нѣсколько разъ заставлялъ этого юношу у Алексѣя Николаевича и удивлялся его сдержанности. Онъ говорилъ даже съ отцомъ съ серьезнымъ достоинствомъ благовоспитаннаго барича. Отецъ, какъ видно, гордился имъ и нерѣдко говорилъ, что въ его Сергѣ много общаго съ дѣдомъ, съ дипломатомъ былыхъ временъ, Николаемъ Алексѣевичемъ Казанцевымъ. И точно, юноша выросъ человекомъ вполне благовоспитаннымъ. Это понималъ Алексѣй Николаевичъ вполне въ одинъ изъ памятныхъ для него вечеровъ.

Какъ-то цѣлая компанія старыхъ кутилъ, извѣстныхъ всему Петербургу, являющихся неизмѣнно на всѣ первыя представленія и бенефисы въ театры и въ лѣтнія увеселительныя заведенія, пріѣхала съ дамами къ Доротту. Въ числѣ пріѣхавшихъ былъ и Алексѣй Николаевичъ, какъ неперемѣнный членъ этой компаніи. Онъ сбросилъ на руки слуги пальто и поднялся съ своей дамой подъ руку въ за-

ль, чтобы пройти въ отдѣльныя комнаты, и остановился въ недоумѣніи: черезъ залу проходилъ тоже съ дамой подъ руку его Сержъ, окруженный толпой товарищей. Молодежь шумѣла и смѣялась. Сержъ взглянулъ, прищуривъ глаза, на отца, и тотчасъ же развязно заговорилъ со своей дамой, точно не узнавъ отца. Алексѣй Николаевичъ смутился и выпустилъ руку своей спутницы, сдѣлавъ шагъ по направленію къ своему сыну, но сынъ, не моргнувъ глазомъ, прошелъ мимо и исчезъ со своей компаніей въ другихъ комнатахъ. Алексѣю Николаевичу было какъ-то не по себѣ, у него исчезла всякая веселость; онъ слышалъ въ сосѣднихъ комнатахъ смѣхъ, пѣніе и говоръ сына и не могъ самъ повѣсничать въ своемъ кружкѣ. Но сынъ, по видимому, нисколько не былъ смущенъ встрѣчей съ отцомъ и продолжалъ потѣшать свою компанію, вызывая ея смѣхъ и аплодисменты своими шутками, своими куплетами.

Кое-какъ дотянувъ вечеръ, Алексѣй Николаевичъ вернулся домой.

На слѣдующее утро онъ встрѣтился съ сыномъ за завтракомъ. Тотъ, по

обыкновенію, спокойно и сдержанно проговорилъ ему, садясь за столъ:

— Bonjour, рара!

Алексѣй Николаевичъ молча пожалъ протянутую ему руку сына и не зналъ, какъ начать разговоръ. Наконецъ, онъ спросилъ:

— Гдѣ ты былъ вчера?

— У Доротта, — отвѣтилъ сынъ.

— А! Значитъ, я не ошибся! — сказавъ отецъ.

— А ты меня видѣлъ? — спросилъ сынъ.

Алексѣй Николаевичъ съ удивленіемъ посмотрѣлъ на него.

— Да вѣдь и ты же, вѣроятно, видѣлъ меня, — проговорилъ онъ.

— Я, рара, стараюсь не видать того, чего мнѣ не нужно видѣть, или, по крайней мѣрѣ, не говорить объ этомъ, — сухо отвѣтилъ сынъ, принимаясь за завтракъ.

Отецъ посмотрѣлъ на его спокойное лицо и смутился еще болѣе. Черезъ минуту онъ заговорилъ снова:

— Мнѣ очень досадно, что я тебя встрѣтилъ въ подобномъ мѣстѣ, въ такой компаніи!

— Въ какой компаніи? — проговорилъ сынъ, вопросительно поднимая глаза на отца. — Это были люди нашего круга...

— Но эти кутежи не доводятъ...

Алексѣй Николаевичъ не кончилъ фразы, такъ какъ сынъ, кончивъ котлету, положилъ ножъ и вилку и взглянулъ на отца, откинувшись на спинку стула.

— Мы мужчины и потому намъ нечего особенно церемониться, — проговорилъ юноша. — Мнѣ девятнадцать лѣтъ и ты, конечно, понимаешь, что я не монахъ, не отшельникъ, не сконецъ. Я точно такъ же знаю, что и ты — *rassez moi le mot, cher papa*, — чуть не холостякъ.

При послѣдней фразѣ сынъ вздохнулъ не безъ грусти.

— Значить, — продолжалъ онъ:— очень понятно, что мы можемъ иногда случайно столкнуться въ извѣстныхъ мѣстахъ, въ извѣстной обстановкѣ, при которыхъ намъ, отцу и сыну, не особенно хотѣлось бы встрѣчаться. Но что же дѣлать: *il faut faire bonne raine à mauvais jeu!*

Онъ вдругъ улыбнулся.

— Мнѣ вспомнилась прекуръезная исторія, — совсѣмъ веселымъ тономъ, улыбаясь только глазами, продолжалъ онъ. — Я съ Пьеромъ Барнауловымъ на дняхъ поѣхалъ поужинать къ Клемансъ Роберъ... Ты, конечно, знаешь ее? Не глупая женщина, съ ней всегда можно, не зѣвая, *causer théâtre et chiffons*... Пьеръ Барнауловъ вздумалъ за ней пріударить. Но вообрази, только мы усѣлись за ужинъ, какъ ей докладываютъ, что къ ней пріѣхалъ самъ Павелъ Петровичъ...

— Отецъ? — проговорилъ Алексѣй Николаевичъ.

— Да, онъ своей собственной особой, — подтвердилъ сынъ. — Ну, конечно, пришлось бросить ужинъ и ретироваться черезъ черную лѣстницу. Пьеръ и не зналъ, что его батюшка уже съ недѣлю, какъ отвоевалъ Клемансъ отъ Офросимова...

— Объ этомъ же весь городъ говорилъ, — не удержался отъ замѣчанія Алексѣй Николаевичъ.

— Да, весь городъ, но къ намъ въ училище не сразу доходятъ всѣ городскія новости, — отвѣтилъ сынъ.

Отецъ и сынъ помолчали. Алексѣй Николаевичъ все еще чувствовалъ себя какъ-то неловко передъ своимъ сыномъ-дипломатомъ. Наконецъ, сынъ чуть-чуть потянулся и поднялся съ мѣста.

— Ахъ, скорѣй бы кончить курсъ! — проговорилъ онъ. — Надо будетъ поскорѣй жениться. Всѣ эти Клемансы хороши для тѣхъ, кто привыкъ сорить деньгами, а когда ихъ мало...

— Да, кстати, — перебилъ сконфуженно отецъ:— я тебѣ, можетъ-быть, мало даю карманныхъ денегъ...

— О, не безпокойся! — отвѣтилъ сынъ. — Я не изъ числа расточителей! На мелкія глупости у меня съ избыткомъ хватаетъ того, что ты даешь. Наконецъ, я въ такихъ лѣтахъ, когда во всѣхъ этихъ любовныхъ похожденияхъ деньги играютъ еще послѣднюю роль.

Онъ пожалъ руку отца и вышелъ.

Алексѣй Николаевичъ стоялъ съ какимъ-то потеряннымъ выраженіемъ лица: онъ еще разъ убѣдился, что онъ вовсе не зналъ своихъ собственныхъ дѣтей, что ему нужно поближе входить въ свою собственную семью.



— Экипажъ поданъ! — доложилъ лакей, прерывая эти мысли.

— Экипажъ? — съ недоумѣніемъ спросилъ Алексѣй Николаевичъ, точно сквозь сонъ.

— Ваше превосходительство въ засѣданіе хотѣли ѣхать, — пояснилъ лакей.

— Въ засѣданіе? — пробормоталъ про себя Алексѣй Николаевичъ, припоминая что-то. — Ахъ, да, сегодня общее собраніе въ обществѣ призрѣваемыхъ сиротъ... Да, да, надо ѣхать!

И онъ поѣхалъ рѣшать судьбы призрѣваемыхъ сиротъ, слушать отчеты о ихъ положеніи, подписывать протоколы и отчеты о суммахъ, расходуемыхъ на ихъ содержаніе.

## IV Барышни

Съ семействомъ Олениныхъ я познакомил-ся давно и чисто случайно: мнѣ нужна была комната, и эта комната нашлась у нихъ.

— Это у насъ лишняя комната, — говорила мнѣ хозяйка квартиры, вводя меня въ отдаваемое въ наемъ помѣщеніе. — По правдѣ сказать, намъ не хотѣлось бы отдавать ее: Богъ знаетъ, на кого нападешь; но что же дѣлать, маленькія квартиры плохи, безъ всякихъ удобствъ. Впрочемъ, вы, кажется, человекъ скромный, я ужъ это по первому взгляду вижу, и потому васъ я готова впустить. У насъ, вѣдь, знаете, барышни, тоже перваго встрѣчнаго нельзя впустить.

Мы поговорили о цѣнѣ, и я переѣхалъ. Комната моя была большая, свѣтлая, и я былъ доволенъ. Я переѣхалъ въ субботу и, уставъ отъ поисковъ за комнатой, проспалъ до одиннадцати часовъ утра. Я, можетъ-быть, спалъ бы и еще дольше, если бы мейя не разбудили звуки фортепіано и пѣніе. За стѣной пѣли:

*«Что такъ грустно глядишь на  
дорогу,  
Въ сторонѣ отъ веселыхъ подру-  
гъ...»*

Молодой женскій голосъ фальшивилъ на каждой нотѣ, а музыка на разстроенномъ дрянномъ фортепіано была еще хуже пѣнія. Куплеты поющей пѣсни еще не успѣли кончиться, какъ я услыхалъ начало романса:

*«Милый другъ, помолись за ме-  
ня!»*

— Пусти, ты опять врешь! — остановилъ пѣвицу другой женскій голосъ.

— Ну да, ты лучше споешь! — отозвалась пѣвица, прекращая пѣніе, но продолжая музыку.

— Сыграй: «Вотъ ѣдетъ тройка...»

Раздались фальшивые звуки новаго романса, и другой женскій голосъ запѣлъ новую пѣсню, перевирая и ноты, и слова.

— Ну, и наврала, и наврала! — говорила играющая женщина.

— А ты сама сфальшивила! — отозвалась ноющая женщина.

— Ужъ лучше не пой? Я вотъ вальсъ сейчасъ сыграю!

Начался вальсъ, подъ который, конечно, не могъ бы танцовать никто. Я услышалъ въ то же время женскіе шаги по комнатѣ и пѣніе вполголоса романса: «Не пой, красавица, при мнѣ».

— Ты сегодня, Маша, голубое платье въ клубъ надѣнешь? — спросилъ третій женскій голосъ, въ которомъ я узналъ голосъ хозяйки.

— Нѣтъ, въ бѣломъ поѣду, — отозвалась игрившая женщина и вмѣсто вальса начала наигрывать галопъ.

Барышня, распѣвавшая, ходя по комнатѣ, уже пѣла: «Не уѣзжай, голубчикъ мой!»

Я поднялся съ постели, позвалъ прислугу, чтобы она подавала самоваръ, одѣлся, умылся, сѣлъ пить чай, а музыка все продолжалась, пѣніе все не смолкало. Это начало разстраивать мои нервы. Прошло съ часъ, я рѣшился выйти и немного пройтись. Погулялъ, зашелъ къ одному изъ товарищей, пообѣдалъ, возвращаюсь домой, а музыка и пѣніе все продолжаютъ и все такъ же беспорядочно, такъ же безъ такту, безъ смысла,

фальшиво, такъ же прерываютъ ихъ вопросы и разговоры:

— Маша, ты кушакъ голубой надѣнешь?

— Нѣтъ, вся въ бѣломъ буду.

— А я вся въ черномъ съ пунсовыми розами.

— Право, Катя, тебѣ не идутъ пунсовыя розы.

— Это ужъ мое дѣло.

И опять слышится: «Не уѣзжай, голубчикъ мой», «Ты скоро меня позабудешь», «Мы двѣ дѣвицы». Да будетъ ли этому когда-нибудь конецъ, вѣдь этакъ съ ума сойти можно!

Но вотъ раздается звонокъ, отворяются входныя двери, кто-то входитъ въ переднюю, раздѣвается, идетъ въ залъ.

— Варя, Варя! Вотъ мило, вотъ не ждали! — кричатъ барышни, переставая играть и пѣть.

Слышатся поцѣлуи и звонкіе, звонкіе голоса:

— Ну, какъ живете?

— Отлично, отлично!

— Не скучаете?

— У насъ офицеры бываютъ!

— Въ клубы ѣздите?

— Каждый день почти!

— Счастливицы!

— А ты? Душка, рассказывай!

— Приѣхала на всю зиму къ тетѣ! Отпустить не хотѣли, а я взяла да и уѣхала. Еще бы! У насъ въ Захудаловомъ ни одного мужчины нѣтъ, все купцы да гарнизонные офицеры. Одинъ гвардеецъ на двадцать восемь дней въ отпускъ приѣхалъ и тотъ чѣмъ-то такимъ боленъ, все больше въ меланхоліи находился; «я, говоритъ, теперъ трупъ и все изъ-за женщинъ!» А какой душка, самъ блѣдный, исхудалый, ходитъ, опираясь на палку, и вздыхаетъ! Ну, а вы, — дѣлали себѣ наряды для баловъ?

— Какъ же, какъ же! Дѣлали, всего нашили! Нѣтъ, а ты вотъ скажи Катѣ: вѣдь ей не идутъ пунсовыя розы? Правда? А?

— Душка, душка, тебѣ нужно изъ васильковъ сдѣлать вѣнокъ!

— А я вотъ хочу пунсовыя розы надѣвать и надѣваю.

— Нѣтъ, а ты слышала новый вальсъ?

— Какой?

— А вотъ я тебѣ сыграю!

И опять началась музыка, прерываемая

разговорами, началось пѣніе, обрываемое на полусловѣ восклицаніями, хохотомъ и поцѣлуями.

— Чай будете еще пить? — спросила меня вошедшая служанка. — Или кофе заварить?

— Что это у васъ всегда такой гамъ? — спросилъ я ее, не отвѣчая на ея вопросъ.

— Какой гамъ? — спросила она.

— Да вотъ это пѣніе, эта музыка, — отвѣтилъ я.

— Это барышни! Извѣстно, что-жъ имъ больше дѣлать, — отвѣтила она. — Вотъ вечеромъ притихнуть, въ клубъ поѣдутъ.

И точно, въ восемь часовъ вечера въ квартирѣ воцарилась мертвая тишина: и барышни, и хозяйка квартиры, и ея мужъ уѣхали въ клубъ.

— Аннушка! — крикнулъ я служанкѣ.

Отвѣта не послѣдовало. Я крикнулъ еще — опять нѣтъ отвѣта. Я рѣшился пройти въ кухню, въ кухню ни души. Походилъ я по пустой квартирѣ съ полчаса, вернулся въ свою комнату, пообождалъ немного и снова вошелъ въ кухню. Аннушка уже вернулась.

— А я васъ звалъ, звалъ, — сказалъ я. — Ку-

да вы пропадали!

— На лѣстницѣ съ товарками сидѣла, — отвѣтила она. — Извѣстно, господь нѣтъ, дѣлать нечего дома.

Она была какъ-будто смущена. Я взглянулъ на нее и увидалъ, что она старается за-слонить солдатскій киверъ.

— Что это у васъ гости? — спросилъ я, улыбаясь.

Она потупилась и пробормотала:

— Знакомый-съ...

— Поставьте самоваръ! — сказалъ я съ невольнымъ смѣхомъ.

— Слушаю-съ!..

Черезъ четверть часа самоваръ былъ поданъ.

— Вы не говорите-съ хозяевамъ-то, — застѣнчиво сказала она.

— Чего? — спросилъ я.

— Да вотъ что у меня гости-съ, — пояснила Аннушка и лукаво улыбнулась. — Извѣстно-съ, дома никого нѣтъ, ну, и скучно одной-съ...

— Э, полноте, мнѣ-то что за дѣло! — сказала я.



— Тоже знаете, они все въ клубъ, да въ клубъ, ажно страшно всю ночь одной въ этой квартирѣ... Вы не подумайте чего, онъ вѣдь на мнѣ жениться хочетъ!..

— Ну, и помогай вамъ Богъ! — проговорилъ я, смѣясь.

\* \* \*

И пошла моя жизнь по-новому въ этомъ новомъ помѣщеніи. Утромъ я выходилъ изъ себя отъ звуковъ музыки и пѣнія, вечеромъ я оставался въ гробовой тишинѣ, боясь войти въ кухню, чтобы не помѣшать tête-à-tête Аннушки и ея тѣлохранителя. Мало-по-малу, Аннушка начала цѣнить мою скромность и понемногу посвятила меня въ тайны квартирохозяевъ.

— Самого-то вы видѣли? — спрашивала она меня.

— Нѣтъ, не видалъ самого, — отвѣчалъ я, такъ какъ я дѣйствительно еще не имѣлъ удовольствія видѣть самого господина Оленина.

— Надворный совѣтникъ, а по виду слонъ, какъ есть слонъ, — говорила Аннушка. — Большой, ноги, что твои бревна, толщина

во какая, лапища, какъ у медвѣдя, ходитъ, точно ступа двигается, самъ сторбится, пыхтитъ и таково грозно это смотритъ, что, ахъ ты, свѣты мои батюшки! А ничего-съ, онъ у насъ добрый, мухи не обидитъ! Ужъ очень на него насъли! Ахъ, какъ насъли, такъ это я и сказать не могу. И точно, шутки ли: жена, двѣ великовозрастныя дочери, сынъ въ гимназiи, дочь одна въ институтъ, всѣмъ это вынь да положь — и на ѣду, и на наряды, и на клубы, и на театры! Дѣлать никто ничего не дѣлаетъ, а всѣмъ ѣсть надо! Ну, и присмирѣешь тутъ!

— Такъ-таки ничего и не дѣлаютъ? — спросилъ я.

— Ни, ни, ни! — замотала отрицательно головой Аннушка. — Какъ есть барышни самага деликатнаго сорта! Первое — танцуютъ хорошо, второе — поютъ, третье — музыкѣ обучены, — ну, гдѣ же имъ что-нибудь дѣлать? Ну, это поиграютъ, попоютъ, попляшутъ, глядишь — день и прошелъ! Жениховъ ловятъ. А гдѣ нонѣча женихи-то такіе, чтобы безъ денегъ взяли?

— А вонъ твой-то женихъ хочетъ тебя взять безъ денегъ, — сказалъ я, смѣясь.

— Ахъ-съ, какіе вы шутники, право-съ! — застыдилась Аннушка. — Мы слюбившись! Барышнямъ такъ гдѣ же! Онѣ это сейчасъ: «сдѣлайте предложеніе, какъ папаша и мамаша». А мы... Господь его знаетъ, какъ онѣ и навязался мнѣ... Сустрѣлся мнѣ, сталъ ходить, тары да бары, хорошіе товары, да почему табачокъ... Все дѣло житейское... Ну, а теперь близко къ локоть да не укусишь... Хорошо, коли не обманеть... Изъ себя-то ужъ очень онѣ виденъ, вотъ и боязно...

Аннушка вздохнула.

— Нѣтъ, наше дѣло простое, глупое, а они господа, у нихъ тамъ такъ не водится! — продолжала она. — У нихъ все по закону... Вотъ еще поглядите. Какъ соберется ихъ бамондъ, то-то пойдетъ гонка за женихами. На глазахъ у всѣхъ гоняются! Вотъ дождитесь понедѣльника.

— А что въ понедѣльникъ будетъ?

— Сами увидите!

Понедѣльникъ приближался. Уже въ воскресенье, въ полдень, ко мнѣ постучалась въ дверь госпожа Оленина. Я попросилъ ее войти.

— Ну, какъ вы довольны квартирой? — спросила она, здороваясь со мною.

— Ничего, доволенъ, — отвѣтилъ я.

— Да, у насъ тихо, чинно, — сказала она. — Мы не хотѣли, конечно, отдавать комнаты, только намъ велика квартира, эта комната лишняя. Конечно, два раза въ мѣсяць и она намъ нужна, но вѣдь только два раза въ мѣсяць. У насъ, знаете, журфиксы два раза въ мѣсяць, въ понедѣльникъ черезъ двѣ недѣли...

Она замялась.

— Мнѣ такъ досадно, что я этого не сказала вамъ раньше, — продолжала она черезъ минуту. — Можетъ-быть, это васъ стѣснить.

— Отчего же? — спросилъ я.

— Да видите ли, въ эти дни намъ эта комната необходима, — сказала она. — У насъ курительной комнаты нѣтъ, ну, тоже и для игорныхъ столовъ... Мнѣ, право, такъ совѣстно, что я васъ хочу просить на эти вечера... только два раза въ мѣсяць... позволить намъ занимать вашу комнату... Но я надѣюсь, что вы примете наше приглашеніе и будете, въ числѣ гостей...

Я былъ смущенъ этой неожиданностью и благодарилъ за приглашеніе.

— Такъ вы будете нашимъ гостемъ? — спросила она.

— Сочту долгомъ, — отвѣтилъ я.

— Ну да, я очень рада, — сказала она. — Въ такомъ случаѣ вамъ будетъ все равно, если гости наши будутъ и у васъ... У насъ, я вамъ должна сказать, бываетъ избранное общество... Бываетъ гвардейскій капитанъ, баронъ фонъ-Ладенсбургъ, онъ племянникъ жены сенатора Плугова; одного родственника Штиглица увидите; потомъ, можетъ-быть, завтра пріѣдетъ одинъ изъ друзей Сѣрова... Вообще, мы придерживаемся правила имѣть немногихъ, но избранныхъ знакомыхъ... Въ Петербургъ нужно быть осмотрительными въ выборѣ знакомыхъ... Впрочемъ, я заговорила, а еще надо похлопотать по хозяйству...

Мы простились. Минуть черезъ десять ко мнѣ влетѣла снова хозяйка въ сопровожденіи Аннушки, тащившей ломберный столъ.

— Вотъ сюда поставь, сюда! — говорила хозяйка ей и тотчасъ же обратилась ко мнѣ:— на-

до, знаете, все пораньше разставить, приготовить, а то завтра и такъ хлопотъ будетъ по горло!

Прошло еще нѣсколько минутъ, и ко мнѣ принесли еще ломберный столъ, но зато отъ меня потащили этажерку съ моими книгами.

— Это мы поставимъ въ темную комнату, на завтра, а то она мѣшать будетъ, — говорила мнѣ хозяйка. — Ахъ, только ты, Аннушка, одна не стащишь! Дай я помогу!

Она стала помогать, но дѣло не спорилось. Пришлось снять книги и перенести ихъ потомъ въ темную комнату. Волей-неволей пришлось помогать и мнѣ. Когда я вошелъ съ грудой книгъ въ темную комнату, я едва не полетѣлъ. Эта комната вся была загромождена старыми столиками, какими-то картонками, желѣзными кроватями, посудными шкафами и разнымъ хламомъ.

— Мы это, знаете, все убираемъ, — пояснила хозяйка:— чтобы просторнѣе было въ комнатахъ. Въ хозяйствѣ, въ будничной жизни, конечно, все это нужно, а когда гости — это стѣсняетъ. Вы у насъ не были еще въ комнатахъ?

— Нѣтъ.

— Ахъ, какой же вы бирюкъ и отшельникъ! Пойдемте, я васъ познакомлю съ моими барышнями.

Мы пошли, и я былъ представленъ двумъ барышнямъ Оленинымъ, черноволосой Машѣ и бѣлокурой Катѣ. Обѣ были прехорошенькія и совсѣмъ юныя.

— Вотъ нашъ залъ, а здѣсь спальня моихъ барышень, — поясняла мнѣ хозяйка. — Теперь въ этой комнатѣ будегь гостиная, такъ какъ кровати мы вынесли на завтра. А тамъ моя съ мужемъ спальня и для Ѳеди нашего кушетка. Ему еще двѣнадцать лѣтъ тринадцатый, такъ онъ съ нами спитъ. А вотъ тутъ столовая у насъ. Посудный шкапъ вынесли, а то тѣсно. Диванъ тоже тутъ стоялъ для бабушки, ну, и его убрали, потому что бабушка гоститъ теперь у нашей родственницы.

— А вы танцуете? — вдругъ спросила меня одна изъ барышень.

— Нѣтъ.

— Ахъ, вы, вѣроятно, нигилистъ! — заключила другая барышня, сдѣлавъ презрительную гримасу. — Вотъ какъ у Тургенева нынче

въ романъ описано про Базарова.

— Катя! — укоризненно замѣтила мать.

— Что-жь, мнѣ Воронинъ говорилъ, что всѣ писатели нигилисты, потому что въ писатели только тѣ и идутъ, которые ничего не признаютъ, — пояснила задорнымъ тономъ дѣвушка.

— То-есть, чего же они не признаютъ? — спросилъ я.

— Да такъ, ни по военной, ни по статской служить не хотятъ и никакихъ чиновъ не имѣютъ! — отвѣтила она. — Впрочемъ, для танцевъ и ловкость нужна, — продолжала она, бросая уничтожающій взглядъ на меня: а у кого ея нѣтъ, тому лучше и не танцовать.

— Да, это и во всякомъ дѣлѣ такъ, — отвѣтилъ я, умышленно впадая въ задорный тонъ барышни, — Поешь, какъ козель, — не пой; играешь на фортепіано, какъ на бала-лайкѣ, — не играй! А то пугаломъ будешь!

Барышня какъ-то недоумѣло посмотрѣла на меня, быстро отвернулась и замолчала.

Вплоть до ночи я не оставался ни минуты покойнымъ. Хозяйка донимала меня своими появленіями въ моей комнатѣ, своими прось-



бами пособить ей что-нибудь переставить, своими рассказами, о томъ, кто будетъ у нихъ завтра въ гостяхъ. Аттестаціи гостей были самыя странныя. Про одного, на примѣръ, я узналъ, что онъ постоянно абонированъ въ итальянской оперѣ и, повидимому, онъ отличался именно только этою особенностью, которая давала ему право быть причисленнымъ «къ избранному обществу» Олениныхъ. Часовъ въ десять въ залѣ послышалось передвиженіе стульевъ. Я удивился этой неожиданной вознѣ, такъ какъ по вечерамъ у насъ царствовала тишина. Я позвалъ Аннушку.

— Я здѣсь, — откликнулась она изъ залы. — Барышнямъ постели стелю.

Я вошелъ въ залъ: Аннушка составляла стулья и устраивала изъ нихъ постели.

— Это у насъ ужъ всегда такъ наканунѣ гостей, — пояснила она:— кровати-то ихъ вынесли изъ той комнаты, мебель тамъ по-модному разставили, ну, и стели, значить, въ залѣ...

Въ три часа ночи меня разбудилъ шумъ: это пріѣхали барышни и, напѣвая, смѣясь и болтая, ходили по залѣ, раздѣвались, роняли

вещи на полъ, сообщали громко одна другой свои тайны, словно забывъ о моемъ существованіи.

— Тише, услышитъ! — вдругъ проговорила одна изъ сестеръ.

— А мнѣ-то что за дѣло! — отвѣтила другая. — Ты слышала, что онъ давеча сказалъ? Это ужъ онъ не на насъ ли мѣтилъ? Ужъ если я что замѣчу, такъ я его такъ отбалую, что со стыда сгоритъ!

— А онъ тебя пропечатаетъ!

— Ахъ, скажите, пожалуйста, какія страсти! Кто ихъ читаетъ! Голь какая-нибудь, оттого и въ писаки пошелъ. Ужъ порядочный человѣкъ по грошамъ за свои писанья собирать не станетъ, а служить пойдетъ. У нихъ что: ни чиновъ, ни орденовъ, ни званій, ни жалованья, ни наградъ нѣтъ. И мамаша глупо сдѣлала, что пустила! Офицеръ бы какой-нибудь нанялъ; все компанію бы водилъ. А тотъ что? Медвѣдь! У-у-у! Вотъ, вотъ ему!..

Мнѣ, вѣроятно, показывали языкъ, а можетъ-быть, и еще хуже того.

\* \* \*

На слѣдующій день наша квартира была

неузнаваема, неузнаваемы были и люди въ ней. Все и всѣ принарядились, прибрались, пообчистились. Кромѣ Аннушки, къ вечеру появился лакей въ вязаныхъ перчаткахъ, въ порыжѣвшемъ парикѣ, надвигавшемся постоянно на лобъ, въ потертомъ фракѣ и бѣломъ жилетѣ сомнительной бѣлизны. По фізіономіи, по выправкѣ въ немъ не трудно было узнать отставного солдата; но неловкости движеній, по неумѣнью носить подносы легко было догадаться, что онъ случайно и недавно попалъ въ офиціанты и, можетъ-быть, былъ уже и читальщикомъ и факельщикомъ; по красному носу и дрожанію рукъ было замѣтно его пристрастіе къ вину. Въ свободныя минуты, стоя у дверей и ожидая, что его позовутъ, онъ утиралъ пальцами въ вязаныхъ перчаткахъ носъ, или почесывалъ сзади голову подъ парикомъ, оттопырившимся въ видѣ подстриженнаго птичьяго хвоста; салфетка, бывшая у него подъ мышкой, не разъ отирала катившійся съ его лица крупный потъ и также не разъ отирала ради чистоты подаваемые тарелки. Онъ былъ и жалокъ, и смѣшонъ, и отвратителенъ въ одно

и то же время, производя впечатлѣннѣе нечистоплотнаго и полуголоднаго бродяги. Онъ конфузилъ даже хозяйку, и она замѣтила ему:

— Ахъ, Иванъ, какой ты неловкій! — и тутъ же тихо объяснила гостямъ:— Это, знаете, нашъ старый слуга, изъ нашихъ бывшихъ крѣпостныхъ; жаль старика, потому и держимъ, хотя онъ уже и отвыкъ служить.

Въ дѣйствительности, разумѣется, онъ былъ такимъ же ихъ крѣпостнымъ, какъ и крѣпостнымъ китайскаго императора.

Ивану помогаль Ѳедя, сынъ хозяевъ, остриженный довольно коротко гимназистъ, съ множествомъ вихровъ на головѣ, съ узенькимъ лбомъ и красными большими руками. Его гимназическій мундирчикъ былъ ему коротокъ и въ тальѣ, и въ рукавахъ, изъ которыхъ висѣли и болтались, какъ кисти, его красныя, длинныя и широкія пятерни. Мальчикъ, подгоняемый приказаніями и просьбами матери, отца, сестеръ и гостей, скакалъ изъ угла въ уголь козлиною, угловатою походкой.

Гости начали съѣзжаться рано, и что это были за гости! Это было буквально вавилон-

ское столпотвореніе. Чиновники, офицеры, барышни, тетки крестниковъ разныхъ извѣстныхъ людей, артисты третьяго разбора, клубные знакомые, какой-то сбродъ съ борка и съ сосенки. Одни шли ради картъ, другіе ради пляски, третьи ради интрижки съ барышнями, четвертые ради ѣды и выпивки. Многіе были здѣсь, подобно мнѣ, впервые; многіе, очевидно, были не только въ первый, но и въ послѣдній разъ. Всѣ почти спрашивали другъ у друга:

— А кто этотъ господинъ? А кто эта госпожа?

Общихъ разговоровъ, конечно, не было и въ поминѣ, всѣ жались и церемонились, всѣ молчали и точно чего-то ждали. Наконецъ началась игра въ карты, танцы и чай, — почувствовалось оживленіе. Какой-то прикомандированный къ гвардіи армеецъ сталъ дирижировать танцами:

— Дамъ-занъ-аванъ! Шенъ-де-дамъ!

И пошло верченіе, топоть, бряцаніе шпоръ. Кто-то на всю залу чихнулъ отъ поднявшейся пыли. Атмосфера дѣлалась все душнѣе и тяжелѣе. Изъ моей комнаты, какъ

изъ трубы, валилъ дымъ въ залу, въ залѣ пахло керосиномъ, потомъ, гарью изъ кухни, дешевыми духами и помадами. Говоръ все усиливался, топотъ дѣлался все отважнѣе, все неистовѣе гремѣла команда:

— Феть-ле-ронъ! Ранже-ву, месье?

Факельщикъ въ роли официанта съ ловкостью танцующаго на канатѣ слона лавировалъ между гостями съ подносомъ наполненнымъ конфетами, яблоками, виноградомъ. Всего, было мало, всего недоставало, а тутъ какая-то старушка съ сладкой улыбочкой набирала въ платокъ гостинцевъ «для внучковъ»; тамъ какой-то беззубый господинъ съ орденомъ на шеѣ, покачивая съ неудовольствіемъ головой, перещупывалъ всѣ яблоки, надавливая ихъ замаранными нюхательнымъ табакомъ нальцами, чтобы выбрать самое мягкое, и перебралъ всѣ конфеты, чтобы найти менѣе сладкую; въ третьемъ мѣстѣ кто то упорно удержалъ официанта за рукавъ и сталъ ѣсть съ подноса угощенія, не выпуская изъ рукъ своей жертвы, пока не набилъ непомерно прожорливаго рта сладостями. Въ моей комнатѣ уже кричали:

— Да вѣдь этакъ лапти только плести можно, а не въ карты играть! У меня какія-съ были карты? А вы съ чего ходили? Я вамъ что показалъ? Пики?

— Ну!

— А вы съ чего ходили? Съ трефъ?

— Ну!

— Да вы что прикидываетесь, что ли, невиннымъ-то?

— Ну, ну? Я вамъ говорю, что я показалъ пики-съ, пики-съ, а вы съ трефъ! Чортъ знаешь, что сдѣлали! И дернуло меня състь Богъ вѣсть съ кѣмъ!

Какая-то старая, полуглухая барыня въ яркомъ чепцѣ подсѣла ко мнѣ и начала расспросы:

— Это кто? А это кто?

— Я здѣсь никого не знаю, — отвѣчалъ я.

— Да вы впервые здѣсь?

— Впервые.

— Вы кто же такой?

— Жилецъ.

— Жилецъ? Чей?

— Олениныхъ, комнату нанимаю у нихъ.

— А! А гдѣ же ваша комната? Это тем-

ная-то?

— Нѣтъ. Та, гдѣ въ карты играютъ.

— Отдавать, значить, стали! Охъ, плохи дѣла. Всегда говорила, не по состоянію живутъ! Шутка ли, все по клубамъ, все по театрамъ, все балы да пиры, а работникъ одинъ. Ну, конечно, мѣсто доходное, по таможенѣ служить, а все ни хватить, сколько ни бери. То же карты эти. Самъ въ должности день, а вечеръ въ клубъ за картами. Дочерей-то сбыть не могутъ, извертѣлись дѣвки, истрепались. Вотъ съ офицеромъ-то, съ офицеромъ-то Катенька вьется, а что съ него взять. Голь тоже перекатная, поиграетъ съ дѣвчонкой и бросить. Ему на голые зубы отчего не поиграть, а послѣ она-то кулаками слезы будетъ утирать.

Старуха пожевала беззубымъ ртомъ и начала снова:

— И ужъ онѣ ли въ передѣлкахъ не были: старшая-то дочь такъ и пропала, напоролась на прощелыгу какого-то, погуляла съ нимъ да и нагуляла дѣвчонку. Въ воспитательный отдали, ну, ее-то выгнали, теперь, поди, по Невскому гдѣ-нибудь ходитъ, да мужчинъ ловить. Охъ, грѣхи, грѣхи! И ужъ нужды-то,



нужды-то что натерпѣлись. Всѣмъ-то должны были, жались въ Гавани, христарадничали, пока мѣста хлѣбнаго самъ не добился. Да что говорить, и теперъ-то въ долгу, какъ въ шелку. Меня вотъ принимаютъ, ублажаютъ, а почему? Векселя у меня есть. Да! А ты, батюшка, изъ какихъ?

— Писатель.

— А! А то приказный, думала, спросить хотѣла: векселя-то мои дѣйствительны ли? У трехъ уже спрашивала, говорятъ: дѣйствительны! А все боюсь. Мое дѣло старое, женское, порядковъ не знаю. Все чужимъ умомъ живу, кто что скажетъ, то и дѣлаю.

Старушка опять пожевала беззубымъ ртомъ.

— Ишь, какъ гогочуть, чему рады!

Дѣйствительно, шумъ становился все сильнѣе, все разнообразнѣе: кто-то вслухъ остриль: «когда будочникъ бываетъ цвѣткомъ?» Другой кто-то отвѣчалъ также громко: «когда онъ не за будкой!» Какой-то беззастѣнчивый кавалеръ напѣвалъ вполголоса: «Какъ ты мила». Какія-то барышни, заливаясь смѣхомъ, взвизгивали: «ахъ, ахъ, не

смѣшите!» Среди игроковъ просто кричали, ругая другъ друга, азартные партнеры. Топотъ, пристукиванье каблуками и шпорами танцоровъ дошли до послѣдней степени, а дирижеръ танцами съ включенной прической, съ мокрымъ отъ пота лицомъ, уже не кричалъ, а взвизгивалъ: «Ле-кавалье-заванъ-аванъ!»

Закуска была уже подана и всѣ успѣли закусить.

Но девятый валь этой бури веселья былъ еще впереди: въ столовой накрывали ужинъ, громыхая посудой, звенѣли рюмками и стаканами, факельщикъ ухитрился такъ откупоривать бутылки, что пробки щелкали на всю квартиру, что-то тамъ у него разбилось, и до меня очень явственно долетѣло, какъ факельщикъ воскликнулъ:

— Ахъ, чтобъ тебѣ!

Крѣпкое слово слетѣло съ его неумытыхъ устъ. Но въ залѣ гости уже ничего не слышали, ничего не понимали, доплясывая послѣдній кадрили, доигрывая послѣдній роверъ, послѣднюю пульку. Наконецъ всѣ пошли къ ужину и здѣсь произошло маленькое

смятеніе; очевидно, что не хватило стола, не хватило приборовъ и потому нѣкоторымъ приходилось ужинать отдѣльно, не за полными приборами.

— Ахъ, эта глухая старушонка вѣчно до конца досидитъ! — жаловалась хозяйка шопотомъ и на ходу мужу. — И ты хорошъ, никого изъ своихъ олуховъ не спровадилъ. Туда же остались къ ужину.

Хозяинъ и хозяйка не садились за ужинъ вовсе и ходили около, угощая гостей, осматривая, все ли подано. Казалось, они сосчитывали каждый проглоченный кусокъ, каждую налитую виномъ рюмку. За столомъ слышался смѣхъ и говоръ.

— Ви-за-ви сонъ де-зами! — говорилъ одинъ кавалеръ дѣвушкѣ, сидѣвшей напротивъ.

— Ахъ, вовсе и не желала! Опять смѣшить будете!

— Это мой дѣдушка мою бабушку смѣшилъ, а не я васъ!

— Ахъ, не смѣйте болѣе говорить!

На другомъ концѣ другой острякъ замѣтилъ своему толстому и важно смотрѣвшему сосѣду:

— Нѣтъ, ужъ вы оставьте, — это моя мозоль, такъ вы мнѣ ее своими ногами не давите!

Толстякъ посмотрѣлъ на него гнѣвнымъ взглядомъ и проворчалъ:

— Виновать!

— Ничего-съ, это я только потому, что она моя любимая!

Барышня рядомъ фыркала отъ смѣха. На краю стола продолжался еще споръ о картахъ:

— Да нѣтъ-съ! У меня что было — тузъ, король, валетъ и десятка бубень, король, дама и десятка пикъ, тузъ, валетъ и десятка червей, дама, валетъ, десятка и девятка трефъ.

— Да вы четырнадцать картъ насчитали.

— Нѣтъ-съ, слушайте: тузъ, король, валетъ и десятка бубень...

Другіе два партнера доругивались:

— Нѣтъ-съ, это я называю лапти плести, а не въ отвѣтственную игру играть! Вы-съ подводите своего партнера и выводите противниковъ. Я-съ охотнѣе втроемъ сяду играть, съ болваномъ, чѣмъ такъ.

— Да въ клубъ за это бьютъ!

— Ну, гдѣ это вы видѣли! Ну, выведутъ и конецъ!

— Ну, гдѣ какъ! Въ иномъ и побьютъ!

— Конечно, если съ умысломъ.

— Съ умысломъ или не съ умысломъ — тутъ некогда разбирать, а бей и конецъ.

— Ну, на кого тоже нападутъ!

Хозяинъ подходилъ и угощалъ гостей. Эти люди, чинные, скучающіе и безмолвные въ началѣ вечера, были теперь неузнаваемы: они и веселились, и шумѣли, и даже были красны, точно это были не тѣ гемороидалныя, золотушныя, малокровныя, чахоточныя лица, которыя явились сюда въ восемь часовъ вечера.

— Ну, ужъ и баня же у васъ! — проговорилъ вслухъ какой-то господинъ съ орденомъ въ петлицѣ.

Раздался хохотъ, начались остроты и шутки насчетъ бани, пошли въ ходъ двусмысленности, скабрзости; сальныя натуры развернулись вполнѣ, разливая цѣлый потокъ циничныхъ намековъ, остротъ и шутокъ. Какой-то гвардейскій офицеръ, наклоняясь къ одной изъ дочерей хозяевъ, говорилъ:

— Теперь бы на тройкѣ покататься!

— Ахъ, нѣтъ, мамаша не пустить, поздно!

— Но я, Марья Александровна, смѣю разсчитывать въ другой разъ?

— Спросите мамашу, если отпустить.

— Я приѣду, и мы штурмомъ возьмемъ крѣпость!

Онъ понизилъ голосъ и началъ что-то нашептывать. Дѣвушка потупилась и перебирала кончикъ вѣера.

— Ахъ, я не вѣрю вамъ! — шептала она.

— Честное слово!

Буылки были всѣ опорожнены, и водка, и пиво, и иностранныя вина отъ Денвера, и русскія вина отъ Воронцова были допиты. Кто-то изъ гостей безцеремонно перебирать всѣ буылки, чтобы выпить еще послѣднюю рюмку, и держалъ каждую буылку противъ свѣта, отыскивая въ ней хотя каплю влаги.

— Послѣдній контрдансъ! — крикнулъ дирижеръ танцевъ. — Ла дерньерь авекъ галопъ!

Опять всѣ зашумѣли стульями, раздались поцѣлуи съ хозяевами, задвигалась масса, дамы подбирали подолы, чтобы не выпачкать

платьевъ о пролитое вино и пиво, объ обр-  
ненные куски жаренаго гуся, о растаявшее на  
полу упавшее съ ложекъ мороженое. Хаосъ,  
толкотня, грязь, все это царило въ столовой.  
Къ залъ уже снова слышалась музыка и  
вертѣлись пары. Вздремнувшая во время  
ужина таперша, въ перекрашенномъ черно-  
мъ платѣ, въ большихъ очкахъ, съ красны-  
ми рабочими руками, должно-быть, когда-то  
отмороженными, барабанила съ новою си-  
лою по клавишамъ разстроеннаго  
фортепіано.

Когда всѣ уѣхали и я ушелъ въ свою комна-  
ту, я не узналъ ея: табачный дымъ, окурки си-  
гарь и папирось, запахъ гари и селедокъ, об-  
роненныхъ здѣсь во время закуски, слѣды  
грязныхъ ногъ, все это было неприглядно, на-  
поминало кабакъ. Успокоиться и улечься я не  
могъ долго: хозяйка бѣгала, подсучивъ пла-  
тье, и тушила свѣчи, обирала огарки, считала  
колоды картъ, мелки, щеточки; въ кухнѣ счи-  
тали посуду, приборы ножей, вилокъ и ло-  
жекъ, салфетки. Все это было наполовину за-  
нято у сосѣднихъ жильцовъ, у знакомыхъ, у  
какого-то кухмистра. Барышни, уставшія и

опустившіяся, раскалывали банты, цвѣты, не обращая никакого вниманія на меня.

Бѣдный гимназистъ, сынъ хозяевъ, помогавшій весь вечеръ факельщику, теперь гонялся изъ угла въ уголъ.

— Оедя! Оедя! — кричала ему мать:- разбери карты!

— Оедя! Оедя! отколи бантъ мнѣ сзади! — кричала ему сестра.

Онъ огрызался, ругался, но помогаль всѣмъ.

— Оедя! Оедя! — крикнулъ, наконецъ, и я.

— Вы еще что? — грубо отвѣтилъ онъ.

Я расхохотался.

— Ничего, голубчикъ, просто хотѣлъ вамъ сказать, что пора и спать! — сказалъ я, протягивая ему на прощаніе руку.

— Да, уснешь у насъ! — отвѣтилъ онъ. — Теперь еще въ спальнѣ отецъ и мать пилить другъ друга начнутъ до третьихъ пѣтуховъ!

\* \* \*

Ну, вотъ и прошелъ jour fixe и пошли опять дни попережнему: весь день музыка и пѣніе, а вечеромъ — мертвая тишина. Днемъ бѣготня Аннушки, а вечеромъ ея тихія бесѣды



съ ея солдатомъ. Такъ же неизмѣнно пропалъ самъ господинъ Оленинъ днемъ въ должности, вечеромъ — въ клубѣ. Такъ же неизмѣнно не былъ виденъ сынъ Олениныхъ, пребывая днемъ въ гимназiи, а вечеромъ — у товарищей. И никто-то не дѣлалъ никакого дѣла, не шилъ, не читалъ, не учился. Иногда я слышалъ, какъ Аннушка говорила:

— Да вѣдь стирать нельзя, сударыня, въ корытѣ чулки останутся, мѣста живого нѣтъ!

— Вы бы хоть подштопали! — совѣтовала мать дочеринъ. — Также изъ угла въ уголь ходите!

— Что мы богадѣленки, что ли? Рано еще за вязаньемъ и штопаньемъ сидѣть, — отвѣчали барышни. — Скажите папа, пусть на новые дастъ денегъ.

— Такъ онъ и далъ! Припасено у него для васъ!

— А въ карты есть на что играть?

— Не- на ваши играетъ!

— Да и вы не на свои играете, а на хозяйственныя!

— Ну, и не ваше дѣло!

— Не наше, а мы оборванными ходимъ!

— Стыдитесь! Сколько платьевъ понашили!

— А юбки обтрепаны!

— А вы подшейте!

— Ну, ужъ нѣтъ-съ! Возьмите швейку!

И точно, въ домъ появилась швея-поденщица, на которую наваливали цѣлыя груды разнаго расхудившагося бѣлья, проносившихся юбокъ, оборвавшихся сорочекъ. Она съ утра до ночи не разгибала спины, а семья пила, ѣла, пѣла и веселилась. Я дѣлалъ нѣсколько попытокъ поговорить съ барышнями, но изъ этого ничего не выходило. О книгахъ онѣ совсѣмъ не могли говорить, потому что ничего не читали, кромѣ стишковъ изъ какихъ-то сборниковъ, хрестоматій и пѣсенниковъ. О театрѣ ихъ разговоры ограничивались рассказами о томъ, кто изъ зрителей и актрисъ какъ былъ одѣтъ, и восклицаніями: «Ахъ, милка Мартыновъ!» «Ахъ, пупончикъ Самойловъ!». Объ общественныхъ и политическихъ новостяхъ нечего было и заикаться, такъ какъ онѣ никогда не читали никакой газеты и узнавали только отъ Аннушки, что гдѣ-то. кого-то ограбили,

при чемъ, только въ экстренныхъ случаяхъ онѣ говорили: «Ахъ, достань газету, Аннушка, мы сами прочтемъ!» Говоря съ ними, нужно было говорить анекдоты, каламбуры, остро- ты, чтобы смѣшить ихъ, или любезничать съ ними, чтобы завести интрижку, или вызы- вать ихъ на воспоминанія, чтобы онѣ заще- бетали безъ конца. Впрочемъ, ихъ воспоминанія ограничивались тѣмъ, какъ, весело провели онѣ время въ Павловскѣ, каж- дый день на музыкѣ, всѣ аристократы тамъ живутъ, самъ великій князь тамъ бываетъ, или какъ хорошо онѣ жили въ Парголовѣ, каждый день на телѣгахъ, на лодкахъ, верхо- мъ катались, играли въ серсо, въ воланы, од- инъ кавалеръ былъ тамъ душка, утонулъ бѣдный, и такъ далѣе безъ конца. Глубже это- го содержанія воспоминанія не шли. Иногда онѣ рассказывали даже, какъ кто упалъ въ клубъ въ кадрили годъ тому назадъ, какъ два года тому назадъ, въ клубъ же, одна дама юб- ку потеряла, и это онѣ помнили съ удивитель- ными подробностями и оживлялись при этихъ воспоминаніяхъ. Онѣ мнѣ скоро надоѣли, и я пересталъ даже дѣлать

наблюденія надъ этой пустой, праздною жизнью, стараясь два раза въ мѣсяцъ, по понедѣльникамъ, не ночевать дома, чтобы избѣжать ихъ общества. Но вдругъ судьба снова напомнила мнѣ о ихъ внутренней жизни.

Разъ я ночью, съ воскресенья на понедѣльникъ, когда барышни спали рядомъ съ моей комнатою, проснулся, услышавъ плачь. Плачь былъ неутѣшный, всхлипыванья были громки.

— Да ты расскажи, что случилось-то? — приставала мать.

— Ахъ, тамап, вы видите, она сама не въ себѣ,- проговорила Катерина Александровна. — Извѣстно, что, ну, пріѣхали на тройкахъ, на Крестовскомъ были, катались съ горъ, ужинали...

— Ну, ну! — торопила мать.

— Маша слаба, шампанское бросилось въ голову, вотъ отъ этого все и случилось, — поясняла дочь.

— А ты-то гдѣ была? — допрашивала мать.

— Я за нею по-пятамъ не могла же ходить! Ну, ушла, а потомъ вотъ и плачетъ, — закон-

чила дочь.

— Да ты что же-погубить насъ хочешь? — приставала мать къ плачущей дочери. — Ты, какъ сестра Дарья, видно, хочешь пропасть? Да я тебя теперь прокляну, если ты не выйдешь замужъ, если ты его выпустишь изъ рукъ! Вѣдь кто теперь тебя такую-то возьметъ? Кому такая-то нужна? Онъ тебя оболстиль, его ты и заставь на себѣ жениться!

— Ахъ, тамап, что вы ее терзаете еще! — заступалась за сестру Катерина Александровна.

— Не суйся не въ свое дѣло! — огрызнулась мать. — Тоже, видно, захотѣлось по дорожкѣ сестеръ пойти! Я тебѣ говорю, Марья, не хнычь! Слезами не воротишь. А ты такъ ему и объяви, что на него въ полкъ жалобу твой отецъ подастъ, если онъ не прикроетъ вѣнцомъ безчестія! Шутка ли, взялъ покатать дочерей благородныхъ родителей, компанію цѣлую собралъ, и что надѣлалъ! Жени, говорю я тебѣ, жени его на себѣ и конецъ, а не то...

Рыданія на мигъ смолкли, и я услышалъ всхлипывающій, прерывающійся голосъ Марьи Александровны.

— Маменька, маменька... онъ тутъ же... тутъ же... сказалъ... что онъ... женатъ!..

— Батюшки мои свѣты! — воскликнула мать, громко всплеснувъ руками. — Да что же это будетъ такое? Да какъ же ты не разузнала прежде?

Рыданія болѣзненные, истерическія начались снова съ удвоенной силой.

— И будь ты проклята! И не дочь ты мнѣ! — зарыдала теперь и мать. — Съ глазъ моихъ ты уходи!

— Что это вы, татан! Ужъ не ходитъ ли и ей по Невскому, какъ Дашъ, мужчинъ ловить! — проговорила Катерина Александровна. — Довольно и одной... Фамилію только срамить!.. А Машу еще возьмутъ, пока никто не знаетъ... Вотъ Перцовъ влюбленъ въ нее: онъ не богатъ, у папаши крестнаго подъ началомъ служить, его и женить... Все же лучше будетъ, потому Перцовъ и пикнуть не посмѣетъ насчетъ неудовольствія: онъ будетъ радъ, что хоть при такихъ обстоятельствахъ ему съ нами породниться удастся, потому что у папаши крестнаго въ рукахъ вся его карьера и, можно сказать, жизнь...

— Ну, и говорите сами отцу и дѣлайте, что хотите, а я знать васъ не хочу! — крикнула мать.

— И обдѣлаемъ-съ, только вы не кричите, потому что васъ никто и не боится.

\* \* \*

И дѣйствительно, Перцовъ женился на Марьѣ Александровнѣ, а Катерина Александровна подцѣпила какого-то богатаго старца въ мужья, и всѣ сестры — и Даша, ходящая по Невскому, и Маша, гуляющая отъ несчастнаго мужа, и Катя, живущая съ богатымъ старикомъ-мужемъ, — продолжали свою жизнь милыхъ бездѣльницъ.

## Мужъ Марьи Александровны

На свѣтъ есть не мало лицъ, которыя нимѣютъ значеніе не сами по себѣ, а только вслѣдствіе своихъ супружескихъ отношеній къ разнымъ знаменитостямъ. Это мужа Патти и Жюдикъ, жены Прудоновъ и Тьеровъ. Они какъ будто теряютъ свои собственные имена и являются чѣмъ-то безличнымъ, какими-то ненужными хвостами блестящихъ кометъ. Въ Западной Европѣ гораздо больше знаменитостей, чѣмъ у насъ, и потому тамъ гораздо больше этихъ мужей Патти и женъ Прудоновъ; но зато у насъ личности подобнаго сорта, будучи супругами даже и не настоящихъ знаменитостей, а какихъ-то двусмысленныхъ выскочекъ, играютъ роль еще болѣе странную и смѣшную, чѣмъ тамъ. Когда вамъ говорятъ: «это мужъ Патти! это жена Тьера!» — вы смотрите не безъ нѣкотораго любопытства, не безъ какого-то непонятнаго интереса на указанные лица и, можетъ-быть, смотря на нихъ, сознательно или бессозна-



тельно стараетесь угадать: каковъ вкусъ у этихъ знаменитостей, супруги которыхъ представлены вамъ? могутъ ли быть счастливы эти знаменитости, соединивъ свою участь вотъ именно съ этими людьми? какъ относятся эти близкіе люди къ своимъ знаменитымъ супругамъ? и т. д. Но когда вамъ рекомендуютъ: «это мужъ Марьи Александровны», вы непременно прежде всего спрашиваете: «какой это Марьи Александровны? Кто такая это Марья Александровна?», и если заинтересовываетесь чѣмъ-нибудь, такъ это именно прежде всего самой Марьей Александровной, а не ея мужень: имъ можно заинтересоваться только послѣ и то съ чувствомъ сожалѣнія или съ чувствомъ омерзѣнія.

Мужа Марьи Александровны я встрѣтилъ впервые въ маломъ верхнемъ буфетѣ театра Буффъ. Онъ много пилъ шампанскаго и очень громко говорилъ окружавшему его офицерству:

— Ну, что же, и поѣдемте къ француженкамъ!.. И поѣдемте!..

Онъ говорилъ это съ такою напускною развязностью и такимъ задорнымъ тономъ, какъ

мальчикъ, желающій доказать, что за это его не высъкутъ.

— Кто этотъ господинъ? — спросилъ я у своего пріятеля, завсегдатая театра Буффъ.

— Это же мужъ Марьи Александровны, — отвѣтилъ онъ, какъ бы удивляясь, что я не знаю этого господина.

— А кто сія Марья Александровна? — спросилъ я.

— Кто Марья Александровна? — повторилъ мой пріятель съ еще большимъ удивленіемъ. — Да неужели же ты не знаешь ея? Это одна изъ этихъ дамъ, одна изъ львицъ петербургскаго полусвѣта, адвокатъ въ юбкѣ, биржевикъ въ шиньонѣ.

— Но есть же у нея и фамилія, — замѣтилъ я.

— Не важная фамилія: Перцова, отвѣтилъ мой пріятель. — Она извѣстна въ свѣтѣ просто какъ Марья Александровна...

«Перцова? Перцова? Знакомая фамилія!» думалось мнѣ, и вдругъ я вспомнилъ о семьѣ господъ Лениныхъ, у которыхъ дочь вышла замужъ за какого-то Перцова и ее звали тоже Марьей Александровной. Но не можетъ быть,

чтобы это была она. То была малообразованная, мало развитая, далеко не умная барышня. Гдѣ же ей быть адвокатомъ въ юбкѣ, биржевикомъ въ шиньонѣ! Я сообщилъ моему пріятелю, что я когда-то жилъ у нѣкихъ господъ Олениныхъ и...

— Ну да, это и есть ихъ дочь! — перебилъ онъ меня. — Значить, ты можешь прямо ѣхать къ ней и возобновить знакомство. Личность интересная и далеко не лишняя въ числѣ знакомыхъ. Какія дѣла обдѣлываетъ!

— Ну, положимъ, дѣль у меня нѣтъ, да и неловко такъ съ вѣтру пріѣхать въ гости, — сказалъ я.

— Къ ней-то? — воскликнулъ мой пріятель со смѣхомъ. — Да въ ней просто съ улицы можно пріѣхать и познакомиться, а у тебя даже нѣкоторыя права есть на знакомство, старыя отношенія къ ея семьѣ. Нѣтъ, ты съѣзди. Ей-Богу, пригодится. Вѣдь у нея ты кого встрѣтишь: заслуженныхъ старцевъ, высокоумныхъ администраторовъ, золотую молодежь, цвѣтъ петербургскихъ дѣльцовъ и кутилъ. Это, братецъ, матеріаль, твои бифштексы... Помнишь, Гейне называетъ людей свои-

ми бифштексами, а ужь у Марьи ли Александровны не насмотришься на людей!

Я не рѣшилъ ничего: мнѣ и хотѣлось ѣхать къ ней, и не хотѣлось. Я сознавалъ, что матеріаль для беллетриста въ ея салонѣ можетъ найтись обильный, и въ то же время чего-то боялся. Но какъ бы то ни было, у меня изъ головы не выходилъ одинъ вопросъ: «какъ могла глупенькая барышня сдѣлаться такимъ дѣльцомъ? или она вдругъ поумнѣла?» Отвѣтъ на вопросъ получился случайно: посѣщая часто театры, я однажды увидалъ въ одной изъ ложъ бель-этажа молодую женщину, сидѣвшую, повидимому; со своею компаньонкою, эта женщина была вся въ черномъ бархатѣ, очень декольтирована, очень эффектно причесана, съ оригинальной накидкой изъ черныхъ кружевъ на головѣ въ видѣ испанской кружевной мантильи, ниспадавшей на ея обнаженные плечи, шею и грудь. Она сіяла той красотой, которая дается не одною природою, а и долгимъ сидѣньемъ у зеркала, долгими усилями горничныхъ и кауферовъ. Во всей ея фигурѣ, въ чертахъ лица, въ скромно опущенныхъ глазахъ, въ жестахъ,

которыми она встрѣчала поминутно входившихъ въ ней въ ложу мужчинъ, было одно выраженіе покорности и смиренія. Она походила на прелестную молодую вдову, которая все еще оплакиваетъ мужа и которую насильно привезли въ театръ, чтобы немного развлечьъ, — но, — увы! — напрасно, такъ какъ она можетъ покориться волѣ другихъ, но развеселиться не можетъ. Я долго любовался ею, и въ моей памяти вставало какое-то смутное воспоминаніе: я видѣлъ гдѣ-то, когда-то эту женщину, но видѣлъ ее въ другомъ видѣ.

— Ну, хороша? — вдругъ раздался надъ моимъ ухомъ вопросъ.

Я повернулъ голову и увидалъ своего пріятеля, который говорилъ мнѣ о Перцовой.

— Да! Кто это? — спросилъ я.

— Не узналъ?.. Да это же и есть Марья Александровна! — отвѣтилъ онъ.

— Она? — почти воскликнулъ я. — Да развѣ это дама полусвѣта! Развѣ это кокотка! Это воплощеніе грусти, смиренія и покорности!

— А! нареченный папаша крестный вотъ уже цѣлый мѣсяцъ упрямится и не хочетъ

хлопотать о дѣльцѣ іерусалимскаго дворянина Іоанна Авраамовича Шмулевича! Мы двѣ недѣли никуда не выѣзжали, лежали въ постелькѣ и никого не принимали, даже наречѣннаго папашу крестнаго. Потомъ нашъ извѣстный медикъ Петръ Платоновичъ Золотовъ, призванный къ постели больной, нашель, что болѣзнь заключается въ опасномъ и упорномъ разстройствѣ нервовъ и что нужно черезъ силу развлекать больную, если не желаютъ, чтобы развилось нѣчто въ родѣ тоже упорной и опасной меланхоліи. Вслѣдствіе этого ее вывезли, какъ изволишь видѣть, въ театръ, но онъ ей не доставляетъ удовольствія, она сидитъ въ немъ поневоль, по приказанію доктора, хотя она сама сознаеть, что это не поможетъ... Да что я говорю! Пойдемъ, она все это тебѣ сама расскажетъ...

И мой пріятель насильно потащилъ меня въ ложу къ Марьѣ Александровнѣ, прежде чѣмъ я успѣлъ опомниться.

— Вы меня простите, Марья Александровна, — сказалъ онъ, таща меня къ ней въ ложу: — медвѣдя знакомаго къ вамъ привелъ, еще барышней смѣялись надъ его

звѣроподобіемъ.

Онъ назвалъ мою фамилію.

— Я и такъ бы сейчасъ узнала! — проговорила она, протягивая мнѣ съ улыбкой руку. — Я васъ знала въ хорошія времена, когда еще жилось такъ беззаботно — весело. Можетъ-быть, это было глупо и наивно, но, право же, было лучше.

— А я васъ не узналъ, — сказалъ я. — Вы измѣнились...

— Постарѣла, — вздохнула она.

— Напротивъ, расцвѣли, похорошѣли, — сказалъ я.

— Ахъ, нѣтъ! Бархатъ, кружево, вотъ что лучше теперь, чѣмъ ваши барежевые платья... Помните ихъ?.. А сама я старуха, болѣю, хандрю...

Антрактъ кончался. Я спѣшилъ откланяться.

— Поѣдьте ко мнѣ! — сказала она. — Здѣсь скучно, а тамъ поболтаемъ о старинѣ, о нашихъ jours fixes... Вы очень тогда смѣялись надъ нами?.. Такъ ѣдете?

— Съ величайшимъ удовольствіемъ, — отвѣтилъ я.

Она поднялась съ мѣста и взяла меня подъ-руку.

— А вы досидите до конца и потомъ прїѣзжайте тоже, — сказала она моему прїятелю. — Мы успѣемъ до вашего прїѣзда вспомнить все прошлое. Да, кстати, не говорите никому, что и вы ѣдете ко мнѣ... Не хочу я никого у себя видѣть.

— Но всѣ видятъ, что вы уѣзжаете съ нимъ, — замѣтилъ мой прїятель.

— И пусть видятъ, пусть знаютъ! — раздражительно проговорила она. — Я ихъ не хочу видѣть... я рада, что я отдохну хоть минуту со старымъ другомъ...

— Такъ и прикажете сказать всѣмъ? — спросилъ прїятель.

— Да, да, всѣмъ и каждому! — отвѣтила она и стала спускаться со мною съ лѣстницы.

\* \* \*

Мы сѣли въ карету и поѣхали. Всю дорогу Марья Александровна не смолкала ни на минуту, и я снова узналъ въ ней ту болтливую барышню, которая нѣсколько лѣтъ тому назадъ щебетала въ залѣ, смежной съ тою комнатою, гдѣ жилъ я, — только теперь эта ба-



рышня говорила другими словами. Она едва ли могла быть названа умною или развитою женщиною, тривіальныхъ выраженій у нея проскальзывало не мало, и ея языкъ часто напоминалъ языкъ того общества, которое вращается въ Петербургѣ въ «благородкѣ», какъ оно само называетъ благородное собраніе; но у нея было много сноровки, хитрости, кошачьихъ ужимокъ, внѣшняго лоска, хотя мнѣ все казалось, что она кого-то копируетъ, кому-то подражаетъ. Разговоръ велся въ какомъ-то минорномъ тонѣ. «Она постарѣла, она погибшее созданіе, ей тяжело ея положеніе» — эти фразы не сходили съ ея устъ, наконецъ, она договорилась до фразы: «мы, Травіаты», и я понялъ, какую роль она разыгрываетъ въ данную минуту. Она выражала сожалѣніе объ утраченной дѣвической наивности, о простой жизни въ своей семьѣ, о томъ, что она не понимала тогда такихъ людей, какъ я, о томъ, что она увлеклась, тогда какъ надо было посовѣтоваться съ умными и честными людьми и т. д. Я узналъ, что она послѣ замужества училась по-французски, взявъ французженку-компаньонку, что она

брала уроки музыки и пѣнія, что она много читала французскихъ романовъ. Когда мы вошли въ ея квартиру, меня изумило обиліе шелка, бронзы, цвѣтовъ, картинъ, не нужностей французскаго издѣлія и книгъ той же стряпни изъ мастерскихъ Дюма-сына, Понсонъ-дю-Терайля, Белло. Это была въ полномъ смыслѣ квартира кокетки — яркій примѣръ безумнаго бросанія денегъ на совершенно не нужныя, на крайне малоцѣнныя, по художественной работѣ или по матеріалу, вещи и цѣлый университетъ свѣтскаго разврата: затѣйливыя мягкія кушетки, фривольныя статуэтки, амурь и зефиры на картинахъ, описаніе жизни новѣйшихъ Фринъ въ романахъ, мягкій полусвѣтъ розоватыхъ лампъ, опьяняющіе ароматы распустившихся гарденій, розъ, панкратій и ландышей. Закуривъ легкую папиросу и болтая со мною, Марья Александровна успѣла мнѣ сообщить, что она вышла замужъ поневолю, что она почти не видитъ своего мужа, что около нея вертится цѣлый рой ухаживателей, что — ахъ, она вовсе не такъ дурна, какъ о ней думаетъ свѣтъ! Въ то же время она пожимала мнѣ ру-

ки, просила быть ея другомъ, бранить ее, и если бы я былъ юнъ и неопытенъ, то я вѣрно былъ бы къ концу вечера однимъ изъ многихъ ея рабовъ. Повидимому, у нея вошло въ привычку интриговать всѣхъ мужчинъ, дѣлать ихъ хоть на минуту своими любовниками, практиковаться въ кокетствѣ съ каждымъ встрѣчнымъ. Я могъ только удивляться ея артистическимъ способностямъ играть «рольэ» Она, въ какой-нибудь часъ времени, сумѣла разыграть и роль кающейся Травіаты, и роль заигрывающей съ новой мертвой кокетки, и роль дѣловой женщины, серьезно задумывающейся о будущемъ. Правда, переходы были слишкомъ быстры, ни одна роль не продолжала разыгрываться долго, но все же это умѣнье на нѣсколько минутъ проникнуться извѣстною ролью было изумительно. Только два-три раза и то на минуту прорвалась натура капризной и пошловатой женщины, когда въ комнату не во-время вошла компаньонка и когда лакей не разслышалъ какого-то приказанія. Но грубый и раздражительный тонъ, вызванный этими людьми, тотчасъ же сгладился мягкимъ щебетаньемъ

и очаровательной улыбкой. Она сдѣлалась еще обворожительнѣе, она придвинулась еще ближе ко мнѣ, когда пріѣхалъ мой пріятель.

— Ахъ, это вы! — воскликнула она и дружески протянула ему руку. — Я сегодня вполне счастлива, я воскресла!.. Я уже думала, что все прошлое во мнѣ умерло, а оказывается, что нѣтъ, что оно еще живетъ во всемъ моемъ существѣ... Она еще разъ пожала его руку и прошептала:

— Спасибо вамъ, что вы привели его!

Мы проболтали за полночь и на прощаньи Марья Александровна сказала мнѣ:

— Я жду васъ завтра!

Я было попробовалъ отговориться, но она перебила меня:

— О, хоть одинъ еще вечеръ!

— Ну, братъ, поздравляю! — расхохотался мой пріятель, когда мы вышли на улицу. — Капитальное дѣло обдѣлалъ для Марьи Александровны...

— Кто? — спросилъ я.

— Да ты же, кому же больше! — отвѣтилъ онъ.

Я не понималъ ничего.

— Какъ же: старый другъ ея ты, внезапно встрѣтились въ театрѣ послѣ разлуки, тотчасъ же уѣхали вмѣстѣ, случилось это какъ-разъ въ то время, когда ей опротивѣли ея жизнь, ея поклонники, свѣтъ. Теперь она покается передъ тобой во всѣхъ содѣянныхъ во время вашей разлуки прегрѣшеніяхъ, вымолить твое прощеніе, падеть къ твоимъ ногамъ съ воплемъ:

*«Отъ ликоующихъ, праздно болтающихъ,  
Обагряющихъ руки въ крови,  
Уведи меня въ станъ погибающихъ  
За великое дѣло любви!»*

И у ея названнаго крестнаго папаши, у ея пажей и рыцарей, у ея биржевыхъ агентовъ и сотрудниковъ не станетъ болѣе Марьи Александровны!..

— Что ты за чепуху городишь! — сердито проговорилъ я.

— Чепуха или нѣтъ, а такъ надо было представить дѣло въ глазахъ свѣта, — отвѣтилъ онъ:— и такъ я его и представилъ, тѣмъ болѣе, что именно этого и желала Марья Алексан-

дровна. Недаромъ же она назвала тебя старымъ другомъ, недаромъ уѣхала въ половинѣ пьесы съ тобой, недаромъ она велѣла мнѣ сказать всѣмъ, что она не хочетъ ихъ видѣть!

— Ну, братъ, ты, кажется, ужъ слишкомъ много макіавелизма приписываешь этой глупенькой бабенкѣ,- сказалъ я.

— Что она глупенькая бабенка — это вѣрно, что она умѣетъ лукавить и интриговать — это тоже вѣрно, что олухи царя небеснаго, ея поклонники, попадаютъ на ея незамысловатыя удочки — это тоже вѣрно, какъ дважды-два четыре, — проговорилъ мой пріятель. — Разъ она, братъ, постригаться въ монахини хотѣла, когда долго не давали мѣста одному изъ ея protégé, и въ монастырь ежедневно ѣздила къ обѣднямъ въ теченіе недѣли...

— Ну, и...

— И дали желаемое мѣсто.

Мы помолчали.

— А то разъ она поступила проще: ея нареченный крестный папаша... Онъ, надо тебѣ замѣтить, крестилъ не ее, а ея сестру, но она его для удобства зоветъ своимъ крестнымъ

отцомъ... Такъ вотъ этотъ крестный папаша плохо отдѣлалъ ея будуарь. Она разсердилась, раскричалась, сняла туфли и нахлопала его по щекамъ....

— Ну, это ужъ, дѣйствительно, совсѣмъ просто, — засмѣялся я.

— Просто, но радикально, — отвѣтилъ мой пріятель. — Противъ такого, аргумента устоять трудно. Въ самомъ дѣлѣ, человѣкъ самъ всякаго обидить, всѣхъ распекаетъ, всѣмъ распоряжается, и вдругъ женщина баць-баць! лупить его туфлей по щекамъ. Это такъ ново, такъ неожиданно, такъ оригинально, что такую женщину нельзя, не- обожать. Все этикетъ, да этикетъ — это вѣдь и пріѣстся, нужно же и оплеушины попробовать. Недаромъ же Орлова уважала Фотія: передъ ней всѣ лебезили и кланялись, а онъ первый ее крѣпкимъ словомъ принялъ. Это, братъ, чисто психическія воздѣйствія. Помниніъ, какъ у Миллера-Красовскаго въ педагогикѣ...

Спустя минуту, мой пріятель продолжалъ въ раздумьи:

— А вѣдь она и за тебя прибѣетъ, пожалуй, своего старикашку. Придетъ она завтра. Ста-

нетъ она разсказывать, что ты встрѣтилъся съ нею, что ты былъ въ нее влюбленъ и прежде, что ты стораешь и теперь къ ней страстью, что ты предлагаешь ей бросить, все и удалиться съ тобою въ пустыню, что она готова для тебя на все. Начнутся упреки, слезы и, можетъ-быть, битва. Вратъ она мастерица: и плачетъ — вретъ, и смѣется — вретъ.

— Ну, я-то не стану играть роль мнимаго обожателя и не пойду къ ней даже завтра, — сказалъ я.

— И отлично сдѣлаешь, потому что тебя завтра не примутъ

— Она же звала...

— А все-таки не приметъ. Завтра утромъ она повоюетъ и помирится со старикомъ, который дастъ обѣщаніе хлопотать о дѣльцѣ жида, а вечеромъ они будутъ блаженствовать, разыгрывая идиллію примиренія. Тутъ ужъ будетъ не до тебя, а до выманиванья денегъ: купи это! подари то! А ты лучше, попросту, какъ-нибудь утречкомъ зайди къ ней и говори, какъ я, въ шутиломъ тонѣ — друзьями будете. Она баба необходимая, для изученія годная.



Я послѣдовалъ совѣту пріятеля, не пошелъ въ назначенный часъ къ Марьѣ Александровнѣ, посѣтилъ ее какъ-то утромъ, заговорилъ въ шутливомъ тонѣ, и Марья Александровна развернулась, впала въ мой тонъ, начала скабрезничать и даже показалась мнѣ ужъ черезчуръ пошловатою. Какой-нибудь часъ бесѣды показалъ мнѣ эту женщину всю во весь ростъ; праздная, изнѣженная, капризная, мало развитая, плохо образованная, лукавая, она брала только бойкостью, беззастѣнчивостью, ловкостью и красотою, которая, при разныхъ новѣйшихъ пособіяхъ, казалась дѣйствительно замѣчательною. Привлекало къ Марьѣ Александровнѣ обожателей и то обстоятельство, что она беззастѣнчиво готова была за деньги обдѣлать всякое дѣло и также беззастѣнчиво готова была за деньги отдаться всѣмъ крайностямъ разврата. Нравственной узды у нея не было никакой, границы ея безнравственности трудно было предвидѣть впередъ. Про нее ходили слухи самые невѣроятные для тѣхъ, кто не зналъ ее лично, но, познакомившись съ нею поближе, трудно было сказать,

что она не пойдет на тотъ или другой чудовищный скандалъ. Это было настоящее дитя столичной праздности, распущенности, безнравственности и продажности. Деньги и удобства были ея единственными кумирами. Изучать подобныхъ людей нечего долго, потому что они — глуповатые и пошловатые — высказываются быстро.

Но рядомъ съ ней или, вѣрнѣе сказать, за ней стоялъ субъектъ, заинтересовавшій меня. Этотъ субъектъ былъ мужъ Марьи Александровны.

\* \* \*

Въ нашемъ обществѣ существуетъ масса мелкихъ чиновничьихъ семей, гдѣ нѣжные родители холятъ и лелѣютъ, кормятъ лакомымъ кусочкомъ и обучаютъ въ гимназіяхъ какихъ-нибудь любимчиковъ-сынковъ, но въ то же время эти едва сводящіе концы съ концами, въ сущности очень добродушные и даже честные по-своему люди, твердятъ денно и ночью, при всякомъ удобномъ и неудобномъ случаѣ, этимъ любимчикамъ-сынкамъ: «Голубчикъ, веди ты себя скромнѣе! Сторонись ты отъ озорниковъ-товарищей! Бѣду на-

живешь ты только съ ними! Да на людей-то смотри ты поласковѣ! Ласковый теленокъ двухъ матокъ сосеть! Тоже не знаешь, гдѣ найдешь, гдѣ потеряешь! Бросишь хлѣбъ на-зади, а онъ очутится впереди! Начальству-то будь ты покорень! Начальство знаетъ, что дѣлаеть! Ты съ людьми хорошъ и они съ тобой хороши!» И все это говорится съ лаской, при всѣхъ этихъ наставленіяхъ раздаются поцѣлуи, гладятъ мальчика по головкѣ, ты, моль, у насъ паинька! И растетъ мальчикъ румяный, выхоленный, заласканный и самъ такой тихій, предусмотрительный, нѣжный, мягкосердечный, мухи не обидить. Но чѣмъ тише и мягче онъ, чѣмъ больше смотритъ «красной дѣвушкой», чѣмъ болѣе онъ конфузится при каждой мелкой шалости, тѣмъ болѣе мирволить ему начальство въ училищѣ. Онъ, можетъ-быть, тупъ, но онъ усерденъ; онъ, можетъ-быть, лѣнивъ, но онъ отличнаго поведенія; его переводятъ изъ класса въ классъ за благонаравіе, если не за успѣхи; ему даютъ мѣсто за добрыя качества, но не за знаніе и не за умъ. Въ такой обстановкѣ и въ такихъ условіяхъ въ откормленномъ теленкѣ

сильно развивается склонность къ мечтамъ о разныхъ благахъ и лѣнь для упорнаго труда къ пробиванію пути къ этанъ благамъ: избалованному мечтателю все кажется, что эта блага ниспадутъ на него сами собою, какъ манна небесная, и если онъ что-нибудь дѣлаеть для достиженія ихъ, такъ это только то, что онъ ходитъ аккуратно на службу, усердно вскакиваетъ и краснѣетъ передъ начальствомъ, пополняетъ мелкія порученія какой-нибудь начальнической экономки, вздыхаетъ, проходя съ опущенными взорами передъ дочерью начальника, однимъ словомъ играетъ роль цѣломудренной невѣсты, плѣняющей выгоднаго жениха. Такой невѣстой, плѣняющей выгоднаго жениха, былъ и мужъ Марьи Александровны до своей женитьбы. Служа или, вѣрнѣе сказать, посѣщая мѣсто службы, онъ прислуживалъ всѣмъ, краснѣлъ передъ всѣми и вмѣсто дѣла писалъ стихи «къ ней», дѣлалъ росчерки подъ своею подписью, выводилъ затѣйливые вензеля и ждалъ, когда его женятъ за благонравіе и цѣломудріе. Невѣста, о которой онъ мечталъ и боялся мечтать, была Марья

Александровна, дочь его ближайшаго начальника, названная крестница одного высокопоставленнаго лица. Два раза онъ поднятъ ей со вздохомъ платокъ въ церкви, три раза онъ удостоился въ клубъ поддержать ея шарфъ, одинъ разъ въ Свѣтлое Христово Воскресенье осмѣлился поцѣловать ей ручку — этого было довольно для самыхъ невѣроятныхъ грезъ, для писанья двухъ сплетенныхъ между собою вензелей, изъ которыхъ одинъ былъ его, а другой ея вензель. И вдругъ, о счастье! мечты сбылись: его пригласили въ домъ къ его начальнику, его оставили съ нею наединѣ, ему дали понять, что онъ можетъ «осмѣлиться». Онъ «осмѣлился» и наречѣнный крестный папаша дѣвушки сказалъ ему:

— Я буду васъ имѣть въ виду!

Марья Александровна была не изъ трусливыхъ, но она боялась той минуты, когда ей придется объяснить молодому мужу, что она далеко не такъ чиста и невинна, какъ кажется. Волненіе ея къ концу свадебнаго вечера возросло до того, что она, оставшись съ-глаза на-глазъ съ мужемъ, расплакалась и въ слезахъ начала говорить, что ее погубили. Его такъ

тронули ея слезы, что онъ и самъ всплакнулъ, обнимая ее, и только шепталъ:

— Богъ съ ними! Богъ съ ними!

Все, такимъ образомъ, обошлось какъ нельзя лучше и даже придадо особенную поэзію любви молодыхъ супруговъ, плакавшихъ, въ объятіяхъ другъ у друга.

Такимъ же мягкимъ и покладистымъ мужемъ оказался Александръ Семеновичъ Перцовъ, когда названный крестный отецъ его жены сталъ слишкомъ часто посѣщать ихъ, усылая при этомъ Перцова то съ какими-то порученіями, то въ театръ, то, наконецъ, просто въ командировки. Ему прибавляли жалованье, ему дѣлали подарки, и онъ былъ доволенъ, потому что оцъ теперь былъ, въ сущности, обезпеченъ на будущее время и застрахованъ отъ всякой необходимости работать, а работа была для него всегда какимъ-то пугаломъ, чѣмъ-то грязнымъ и утомительнымъ, чѣмъ-то отрывающимъ челоуѣка отъ спокойствія и отнимающимъ время у удовольствій. Истиннымъ счастіемъ онъ считалъ: спокойствіе, праздность, посѣщеніе театровъ, прогулку по Невскому на рысакѣ, уж-

инъ съ товарищами въ трактирѣ, хорошую одежду, интрижку «съ дѣвочками», какъ онъ выражался самъ. Теперъ это все стало доступно ему, и онъ даже не сердился, когда на него иногда набрасывалась съ какой-нибудь бранью или упреками Марья Александровна, раздраженная чѣмъ-нибудь.

— Ну, цыпка моя, душонокъ мой, опять тебя разсердилъ кто-нибудь! — успокаиваль онъ ее. — Ну, давай твои лапки, я ихъ расцѣлю! Царица ты моя ненаглядная!

И онъ цѣловаль ея руки, становился передъ ней на колѣни, гладиль ея ножки своими красивыми руками, заигрываль съ нею, какъ съ капризнымъ ребенкомъ. Иногда онъ былъ противень въ эти минуты даже ей; иногда же она, разнузданная и привыкшая къ разгулу, съ циничнымъ смѣхомъ говорила:

— Вотъ и хорошо, что у меня мужъ подъ рукой. — Эта фраза: «Мужъ подъ рукой» быстро распространилась въ кружкѣ Марьи Александровны, и съ той поры Перцова иначе и не звали, какъ «Мужемъ подъ рукой».

По-своему онъ былъ счастливъ. Но онъ былъ трусь по натурѣ, по воспитанію — и это

его погубило.

Праздность есть мать всѣхъ пороковъ, говоритъ прописная истина, но у этой матери рождается еще болѣе дѣтей, когда она сама является дочерью избалованности, изнѣженности, закормленности. Александръ Семеновичъ, выхоленный, избалованный, изнѣженный съ дѣтства, стремился къ праздности, какъ къ высшей цѣли въ жизни, но, достигнувъ этой цѣли, онъ началъ мечтать о наслажденіямъ, объ удовольствіяхъ, объ удовлетвореніи своихъ животныхъ инстинктовъ, которые такъ сильно развиваются въ здоровомъ, откормленномъ, взлелѣянномъ организмѣ. На это были нужны деньги, и онъ доставалъ ихъ пригоршнями изъ кармановъ жены. Жена не морщилась, не возражала, пока онъ былъ еще нуженъ ей, какъ мужъ подъ рукой. Но чѣмъ больше расширялся кругъ ея знакомыхъ, ея поклонниковъ, ея обожателей, чѣмъ больше она чувствовала любви къ живѣ, къ крупнымъ кушамъ, тѣмъ чаще пробуждался въ ней вопросъ:

— За что я его кормлю?

Чѣмъ настойчивѣе повторялся этотъ во-



прось, тѣмъ чаще и тѣмъ зловѣще дѣлались сцены между мужемъ и женой изъ-за денегъ. Онъ пробовалъ успокоивать ее своими ласками, но эти ласки уже были ей не нужны; онъ потерялъ для нея даже значеніе хорошенькаго юноши, такъ какъ около нея стояло, цѣлое полчище болѣе молодыхъ и болѣе красивыхъ юношей. Она стала говорить ему:

— Подите, вы мнѣ противны!

Тогда онъ, слабохарактерный и мягкосердечный, сталъ рыдать и умолять ее при каждомъ вопросѣ о лишнемъ рублѣ. Этого было довольно, чтобы она почувствовала ясно свою силу надъ нимъ и стала третировать его, какъ лакея.

Въ одну изъ бурныхъ сценъ она разгорячилась до того, что дала ему пощечину: онъ присѣлъ и заплакалъ; она выгнала его вонъ изъ своей комнаты, и онъ пошелъ прямо въ трактиръ и напился тамъ до безчувствія. Съ этой минуты начался новый фазисъ его семейной жизни. Его, въ его собственной квартирѣ, сталъ ругать и осмѣивать каждый, кто хотѣтъ; онъ потуплялся, молчалъ, пропускалъ все мимо ушей и, въ концѣ-концовъ, напи-

вался съ горя.

Иногда поклонники Марьи Александровны, чтобы за что-нибудь отомстить ей, затагивали его въ свою компанію, подпаивали его и пробовали подстрекнуть его къ бунту.

— Мы удивляемся, Александръ Семеновичъ, — говорили ояи ему:— какъ вы терпите все въ своемъ домѣ! Вѣдь вы мужъ! Вы имѣете право выгнать изъ своего дома всѣхъ непріятныхъ вамъ гостей...

— И она уйдетъ, и она уйдетъ съ ними! — бормоталъ онъ, опуская голову.

— Уйдетъ! Что вы говорите! Да вы, по праву мужа, по этапу можете ее вытребовать откуда бы то ни было и заставить жить съ собою, — замѣчали ему.

— Да она меня самого выслать можетъ, — бормоталъ онъ. — Связи у нея...

— Ну, и пусть вышлетъ, а вы ее по этапу къ себѣ потребуйте, — совѣтовали ему. — Да если вы вздумаете власть показать, она по вашей дудкѣ плясать будетъ и ея крестный, что ли, папаша у васъ по стрункѣ будетъ ходить. Вы ободритесь только, смѣлости наберитесь...

— Нѣтъ-съ... гдѣ мнѣ! — уже плакалъ

онъ. — Я тряпка! Я погубленный человекъ! Она меня обманула! Она меня за мужа не считаетъ!

— Потому и не считаетъ, что вы сами не хотите поставить себя иначе въ домъ! — подзадоривали его. — А вы вотъ пойдите къ ней, прикрикните на нее, нашумите побольше, сломайте что-нибудь... Да вы выпейте для храбрости! Эхъ, вы, трусь!

— Я не трусь... а она меня погубила!..

— Ну, вы и оплатите ей, а то еще и не то будетъ! Вѣдь она васъ выгонитъ еще когда-нибудь, что тогда будетъ? Вѣдь вы нищеты боитесь?

— Я никакъ не могу-съ въ нищету жить...

— А будете, если она васъ выгонитъ! А вотъ если бы вы теперь пришли къ ней да прикрикнули бы на нее, она и дала бы вамъ крупный кушъ. Хоть обезпечили бы себа на время!

Запугиванья, совѣты и подзадориванья пьяной компаніи шутниковъ доводили, наконецъ, Александра Семеновича до того, что онъ набирался пьянаго задора и шель въ женѣ въ буйномъ настроеніи.

— Вамъ что нужно? — раздавался гнѣвный вопросъ жены при его появленіи.

— Я пришелъ... Какъ ты смѣешь... — начиналъ мужъ, тараща пьяные глаза.

— Вы пьяны? Идите вонъ! — приказывала жена.

— Я мужъ!.. я по этапу! — бормоталъ онъ, сжимая кулаки.

— Вонъ! — еще разъ звучало надъ нимъ.

— Я тебя... въ бараній рогъ! Я мужъ... по этапу! — бормоталъ онъ, хватаясь за первую попавшуюся вещь.

Раздавался гнѣвный звонокъ жены.

— Заприте его куда-нибудь! — приказывала она явившемуся слугѣ.

Слуга бралъ въ охапку барахтавшагося и кричавшаго барина и исполнялъ приказаніе барыни, присоединяя къ этому нѣсколько толчковъ и пинковъ пьяному бѣдняку отъ себя.

Послѣ одной изъ такихъ сценъ Марья Александровна встрѣтила названнаго крестнаго папашу со слезами и вриками.

— Вышлите, вышлите его изъ Петербурга!

— Кого? За что? Успокойся! — волновался

старецъ, ничего не понимая.

— Мужа, мужа вышлите! — топала она ножкой.

— Да за что? — тревожно спрашивалъ старецъ.

— Я не хочу его видѣть! — кричала она.

— Да этого нельзя! — уговаривалъ старикъ.

— А я хочу, я хочу, чтобы его выслали! — сердилась она.

— Да какое же я имѣю право высылать людей изъ Петербурга? — пожималъ плечами старикъ.

— Ну, хлопчите, чтобъ удалили, хлопчите! — кричала она. — Никакой пустой просьбы не хотите исполнить, а говорите, что любите! Противный! Меня бить, тиранить, позорить онъ будетъ, а вамъ ничего! Чтобы завтра же онъ былъ высланъ!

— Успокойся! Успокойся! — уговаривалъ ее старецъ. — Ну, въ командировку я могу назначить... Правда, онъ ничего не умѣетъ дѣлать... Ну, перевести его можно въ другой городъ... конечно, его тамъ скоро выгонять...

— Выслать, выслать его! — плакала она ка-

призными слезами.

— Да ты успокойся! Развести васъ лучше всего!

Старець даже просіялъ, озаренный этою геніальною мыслью. Марья Александровна вдругъ успокоилась и совсѣмъ серьезно спросила:

— Онъ денегъ за это потребуетъ?

— Зачѣмъ. Можно все такъ устроить... ну, тамъ причины найти... Я заплачу за разводъ... Тогда ты будешь моя!

Марья Александровна залилась смѣхомъ.

— Ахъ, какая я дѣвочка! Какъ это мнѣ самой не пришло въ голову! Что же надо дѣлать?

— Мы все устроимъ; я поговорю съ нашимъ юрисконсультомъ, — въ нашемъ правленіи есть отличный юрисконсультъ, молодой человѣкъ съ серьезными знаніями. И старецъ исполнилъ свое обѣщаніе.

Въ одинъ прекрасный день Александру Семеновичу дали неожиданно денегъ и послали его въ маскарадъ; тамъ его заинтриговала маока и зазвала его ужинать въ одинъ изъ ресторановъ; они помѣстились въ отдѣльномъ

кабинетъ и остались tête-à-tête, какъ вдругъ ихъ интимная бесѣда была нарушена случайно открывшими двери людьми. Черезъ недѣлю послѣ этого начато Марьею Александровною дѣло о разводѣ ея съ Александромъ Семеновичемъ, который обвинялся въ невѣрности. Свидѣтелей было не мало, все пошло, какъ по маслу, и черезъ годъ Марья Александровна была свободна: таинственная маска, свидѣтели, юрисконсультъ и еще нѣсколько лицъ получили вознагражденіе. Безъ награды остался только Александръ Семеновичъ, потерявшій и жену, и мѣсто.

— Я вамъ отказываю за безнравственность! — говорилъ ему начальникъ. — Я не терплю безнравственныхъ людей на службѣ. Вы сдѣлали скандалъ на весь городъ. Ваше имя стало сказкой города! Стыдитесь!

Александръ Семеновичъ былъ убитъ: съ дѣтства онъ преуспѣвалъ вездѣ и во всемъ за благонравіе и вдругъ его выгоняютъ со службы за безнравственность.

\* \* \*

Какъ-то разъ лѣтомъ судьба забросила меня въ небольшой загородный рестораникъ.

Проходя черезъ буфетную комнату, я увидалъ знакомое мнѣ лицо — господина съ нѣсколько опухшей фізіономіей пьющаго человѣка, въ черезчуръ модномъ, хотя и дешевенькомъ лѣтнемъ платьѣ изъ безвкусной клѣтчатою матеріи, въ голубенькомъ галстучкѣ, повязанномъ бантикомъ, съ бронзовою цѣпочкою и бронзовыми брелоками на жилетѣ. Онъ походилъ на прифрантившаго лакея съ завитыми и напомаженными волосами, съ угловатыми ухватками лютаго сердцеѣда. Это былъ Александръ Семеновичъ Перцовъ, значительно постарѣвшій въ послѣднія пять лѣтъ, но зато молодившійся и бодрившійся болѣе, чѣмъ въ тѣ годы, когда я зналъ его еще довольно юнымъ. Онъ пилъ и закусывалъ, помахивая тоненькой тросточкой съ стекляннымъ голубымъ шарикомъ вмѣсто набалдашника. Онъ меня узналъ тоже сразу и развязно подошелъ ко мнѣ.

— А, монъ шеръ, какими судьбами попали въ наши Палестины? — проговорилъ онъ, пожимая мнѣ руку.

— Гулялъ съ компаніей по островамъ, усталъ и зашелъ сюда отдохнуть и выпить



чаю, — сказалъ я. — А вы развѣ здѣсь живете?

— Да. Шатошка тутъ недалеко! — отвѣтилъ онъ. — Я вѣдь теперь танцую!

— То-есть, какъ это танцуете? — спросилъ я.

— А такъ: тру-ля-ля, тру-ля-ля! — нахальнымъ тономъ пропѣлъ онъ, заложивъ пальцы за проймы жилета и принимая позу канканера. — Полно горевать! Плюю я на горе! Молодъ, значить, и веселись!

Отъ него несло водкой. Я поспѣшилъ за своими пріятелями въ другую комнату, куда уже намъ подали чай.

— Что, этотъ господинъ часто бываетъ у васъ здѣсь? — спросилъ я слугу.

— Да почитай, что кажинный день, — отвѣчалъ онъ. — День здѣсь, вечеръ въ Шато-де-флёръ, а потомъ...

Половой засмѣялся.

— Все съ женскимъ поломъ хороводятся!

— Еще, вѣрно, не все пропилъ или служить гдѣ-нибудь? — спросилъ я.

— Извѣстно-съ, канканъ пляшутъ, этимъ и кормятся. Господа очень одобряютъ и награждаютъ. Со многими даже на дружеской ногѣ

изъ настоящихъ господь. Ну, тоже и женскій полъ къ нимъ пристрастны, потому челоѡкъ оне еще въ силѣ, самыхъ, то-есть, надлежащихъ лѣтъ. Только хмелемъ ужъ очень шибко зашибаются. Иной разъ сами свою пользу отъ себя теряютъ. А то дѣло ихъ выгорѣло бы...

Слуга еще долго распространялся о новой профессіи Перцова, какъ о серьезномъ и выгодномъ занятіи, приводя въ подтвержденіе своего мнѣнія доводы въ родѣ того, что Перцовъ всѣмъ пользуется даромъ и, даже совсѣмъ напротивъ, ему же платятъ за то, что онъ всѣмъ пользуется.

— Вотъ ужъ можно сказать и пьянь, и сытъ, и всячески ублажаемъ на чужой счетъ, — продолжалъ слуга. — Такъ нѣтъ, мало, напьется иной разъ такъ отъ себя, что все спуститъ, изваляется, образа челоѡческаго не имѣетъ. Ну, а, конечно, ни господамъ, ни женскому полу это не нравятся, гоняютъ тоже. Такъ-то вотъ ужъ которое время колесомъ это у него все идетъ, то кверху, то книзу, одно слово — фортуна. А все отъ необузданности, потому челоѡкъ тоже узды требуетъ,

чтобы по своей колёѣ идти и все въ мѣру дѣлать.

\* \* \*

Еще разъ, очень недавно, промелькнулъ передо мной этотъ бездѣльникъ. Онъ уже служилъ фактотумомъ и жилъ на иждивеніи у одной пожилой женщины, промышлявшей въ столицѣ однимъ изъ самыхъ позорныхъ занятій. Я его встрѣтилъ у Бореля, наряднаго, развязнаго, наглаго и потолстѣвшаго. Онъ пилъ какой-то ликеръ въ обществѣ одного юнца изъ нашей золотой молодежи и говорилъ громко:

— Вы не безпокойтесь! Я обдѣлаю это дѣльце! Отъ нашихъ рукъ ужъ не уйдетъ! Днемъ позже, днемъ раньше, а завербуемъ.

Говорятъ, онъ обдѣлываетъ, ничего не дѣлая, катаясь на рыскахъ и попивая дорогія вина на чужой счетъ, тысячныя комиссіи.

# VI Идолъ

Одинъ изъ первыхъ встрѣтившихся мнѣ въ жизни бездѣльниковъ былъ чисто русскимъ человѣкомъ. Звали его Псоемъ Сысоевичемъ Расторгуевымъ. По званію онъ былъ купецъ; по роду торговли онъ былъ хлѣбный торговецъ. У него было въ одномъ изъ нашихъ провинціальныхъ городовъ нѣсколько лабазовъ, мелочныхъ и овощныхъ лавокъ. Жилъ онъ въ собственномъ своемъ домѣ, но проводилъ все время зимою въ лабазѣ, лѣтомъ у дверей лабаза. Я его зналъ въ теченіе тридцати лѣтъ и постоянно видѣлъ сидящимъ на одной и той же скамейкѣ, выкрашенной голубою краской, съ шашечной доской посрединѣ сидѣнья. Когда бы я ни приходилъ сюда, я заставалъ его на этой скамьѣ, или со стаканомъ чаю въ рукахъ, или передвигающимъ лѣниво шашки, или съ руками, сложенными на брюхѣ, въ состоянія полного спокойствія.

Въ народѣ его звали «идоломъ» и, дѣйствительно, это было самое подходящее

для него названіе.

Псой Сысоевичъ имѣлъ большія денежныя средства, но онъ нажилъ свои капиталы не самъ, такъ какъ купцы Расторгуевы — его предки — издавна слыли первыми богачами въ городѣ. Онъ только шелъ по дорожкѣ, протоптанной отцами, и умножалъ свои доходы. Впрочемъ, я неправильно выразился: онъ не умножалъ даже своихъ доходовъ, а только смотрѣлъ, какъ они умножались. Въ извѣстное время его приказчики, повѣренныя и агенты скупали по дешевой цѣнѣ хлѣбъ у крестьянъ; въ извѣстное время къ нему прїѣзжали промотавшіяся помѣщики и обнищавшія крестьяне продавать хлѣбъ ниже дѣйствительной рыночной цѣны; въ извѣстное время его служащіе увозили скупленный за безцѣнокъ хлѣбъ для продажи его по дорогой цѣнѣ. Онъ говорилъ про эти торговыя операціи, что это «заведенная машина», что «такъ это все колесомъ и идетъ». Послѣ каждой подобной сдѣлки ему привозились отчеты; онъ пересчитывалъ деньги и записывалъ ихъ въ сундукъ. По минованіи надобности въ наличныхъ деньгахъ, онъ посылалъ

приказчика купить тѣ или другія процентныя бумаги, пересчитываль эти бумаги и запирали ихъ въ сундукъ. Этимъ и оканчивались всѣ его дѣла: заведенная машина работала изъ года въ годъ одинаково, ровно, безъ исправленій, безъ починокъ. Каждую изъ своихъ дѣловыхъ операцій онъ совершалъ не безъ усилій, кряхтя, вздыхая и охая. Съ кряхтѣньемъ, вздохами и оханьями пересчитывались деньги, отпирался и замыкался сундукъ, выслушивались отчеты приказчиковъ, велись переговоры съ посьтителями, и чѣмъ больше отрастало его брюхо, чѣмъ сильнѣе заплывали жиромъ его глаза, чѣмъ значительнѣе отвисалъ его подбородокъ, тѣмъ больше кряхтѣнья, вздоховъ и оханій вылетало изъ его груди при каждомъ движеніи. Казалось, онъ несъ непосильное и тяжелое бремя и этимъ бременемъ была его собственная утроба.

\* \* \*

Въ жизни «идола» былъ только одинъ и то весьма непродолжительный періодъ тяжелой и утомительной дѣятельности. Этотъ періодъ начался съ того памятнаго дня, когда отецъ

«Псойки» замѣтилъ однажды женѣ, что «пора начать обучать ихъ лоботряса и оболтуса грамотѣ». Лоботрясъ и оболтусъ былъ не кто иной, какъ Псой Сысоевичъ или Псойка, какъ называлъ его отецъ, или Псоинька, какъ называла его мать, или идоль, какъ его тайкомъ называли уже и тогда сидѣльцы, приказчики, мальчики и слуги. Когда родитель оболтуса изрекъ эту знаменательную фразу, мать оболтуса быстро заморгала глазами, а самъ оболтусъ сталъ натирать кулаками свои глаза и черезъ минуту въ комнатѣ начался цѣлый концертъ плача и причитаній.

— Единственное родное дѣтище изъ дому гонять станемъ! Начнутъ его шпынять разные оглашенные разбойники! Заморятъ его проклятые стракулисты! Кто его, голубчика нашего, тамъ приласкаетъ! Со сволочью разною компанію водить будетъ!

Въ этомъ родѣ полился цѣлый потокъ жалобъ со стороны матери.

— Намедни Ваську Терешина въ школѣ такъ избили, что подѣ глазомъ во какая шишка вскочила! А Митьку Власьева инспекторъ поролъ-поролъ, такъ что тотъ два дня състь не

могъ! Не свои, такъ и порютъ, а я тоже не дамся всякому голоштанному! Имъ деньги вонъ какія платятъ, а они порютъ!

Въ этомъ родѣ сопѣль оболтусъ, капризно махая руками и болтая ногами.

Но глава семейства стукнулъ по столу кулакомъ и крикнулъ:

— Молчать!

Плачь стихъ.

— Яйца курицу учить вздумали! — раздражительно продолжалъ родитель. — Захочу — въ Сибири учиться будетъ, не захочу — болваномъ безграмотнымъ вѣкъ скоротаетъ!

Жена и сынъ, присмирѣвъ, слушали поучительныя рѣчи главы семейства. Гнѣвъ родителя понемногу утихъ.

— Чего разревѣлись? — болѣе мягкимъ тономъ продолжалъ онъ. — Нешто я не знаю, какъ мнѣ надо своего сына воспитать? Капиталовъ у насъ, что-ли, нѣтъ, что я стану его по улицамъ гонять? На домъ учитель ходить будетъ, пока нужно. Не Богъ-вѣсть чему и учить-то нужно. Для своего обихода ученье нужно, а не для чего другого.

У матери оболтуса и у самого оболтуса от-



легло на душѣ. Ученье дома не могло существеннымъ образомъ измѣнить строя жизни оболтуса, а жилъ онъ до этой поры такъ: вставалъ онъ со своей мягкой пуховой постельки въ девятомъ часу: умывался и осѣнялся крестнымъ знаменіемъ; одѣвался и причесывался при помощи старой няньки, пилъ чай съ калачиками, сайками, кренделями и домашними булками; въ дурную погоду сидѣлъ и смотрѣлъ, какъ вышиваетъ дѣвка Акулька, какъ вяжетъ чулокъ нянька, какъ гадаетъ на картахъ, или хозяйничаетъ, или шьетъ пелены мать; въ хорошую погоду выходилъ въ теплой одеждѣ, въ высокихъ сапожкахъ на дворъ или на улицу и смотрѣлъ, какъ дерутся мальчишки, какъ они играютъ въ бабки, въ лапту или въ городки, какъ кучеръ чиститъ лошадей и моетъ экипажи, какъ прачка полощетъ бѣлье на пруду; потомъ, въ двѣнадцать часовъ онъ обѣдалъ и опять смотрѣлъ на вязанье, на шитье, на вышиванье, на гаданье, на драку, на чистку лошадей, въ пять часовъ опять ѣли и пили чай, а затѣмъ шло опять смотрѣнье на чужія занятія; вечеромъ ужинали и пили чай; а потомъ няня раздѣвала его,

гладила ему грудку и животикъ, ублажала его сказками, крестила его, бормоча: «да воскреснетъ Богъ и расточатся врази Его», и онъ засыпаль. Въ субботу, утромъ, вся семья вмѣстѣ отправлялась въ домашнюю баню, гдѣ старая няня парила и оболтуса, и его отца, и его мать. Подъ праздники, вечеромъ, вся семья ѣздила въ церковь монастыря къ вечернямъ и ко всенощнымъ. Въ праздники, утромъ, вся семья ѣздила въ ту же церковь къ обѣднямъ. Праздники отъ будней отличались еще тѣмъ, что ѣли еще больше, пекли два пирога, и съ рыбой, и съ вареньемъ, и подавали на столъ разныхъ сладостей. Бѣлый и румяный, высокій и толстый не по лѣтамъ, съ коротенькими пальцами, съ ямочками на щекахъ, на рукахъ и на подбородкѣ, оболтусъ смотрѣлъ лоснящимся упитаннымъ тельцомъ и почти никогда не хвораль, не считая тѣхъ случаевъ, когда онъ мучился животикомъ. Нянька говорила, что это «съ глазу», а потому доктора въ такихъ случаяхъ не приглашали, а просто нянька спрыскивала больного съ уголька богоявленской водицей, растирала ему рукой съ полчаса животикъ въ одну сторону, поила его

настоемъ какой-то горькой травы и укрывала тремя одѣялами и лисьей шубой. На слѣдующій же день болѣзнь проходила и приступы ея дѣлались съ годами все рѣже и рѣже: должно-быть животикъ оболтуса все болѣе и болѣе привыкалъ и къ дурному глазу, и невообразимой смѣси поросятъ подѣ хрѣномъ со сметаною, домашняго кваса съ ледкомъ, пироговъ съ солеными груздями и соленой рыбой, борщей со свининою, кислыхъ щей съ жирною грудиною, бараньихъ боковъ съ кашею и тому подобныхъ яствъ. Оболтусъ, въ сущности, никогда не игралъ, такъ какъ у него характеръ былъ степенный и болѣе созерцательный, такъ какъ у него не было охоты утомлять себя и такъ какъ у него не было товарищей, а были подѣ рукою только «мальчишки», «сволочь», «сиволапые». Онъ любилъ только смотрѣть, какъ играли, или занимались, или дрались другіе и потому устраивалъ для себя цѣлые спектакли. Онъ садился у воротъ отцовскаго дома и приказывалъ;

— Эй, вы, что въ бабки не играете!

Мальчишки начинали играть въ бабки: онъ смотрѣлъ на нихъ и улыбался.

— Ванька, Ванька, вонъ Костька идетъ! Отдуй его, подлеца, чтобъ не жилилъ, какъ тръеводнясь! — слышалась новая команда.

Начиналась драка: онъ смотрѣлъ на нее и у него разгорались глазенки.

Иногда кто-нибудь изъ мальчишекъ докладывалъ ему:

— А сегодня кучеръ Семень крысу во какую Жучкой травиль. Ужъ было потѣхи!

Оболтусъ начиналъ тяжело дышать и сопѣть отъ волненья и шелъ въ кучеру Семену.

— Ты это чего крысу безъ меня затравиль? — упрекалъ его оболтусъ. — Вотъ возьму да тятенькѣ пожалуюсь!

— Да вы еще почивали, Псой Сысоичъ, — объяснялъ кучеръ Семень. — Другую поймаю — позову васъ. У насъ этого добра много при хлѣбномъ дѣлѣ находится.

И точно, на слѣдующій же день для Псоиньки устраивали травлю.

Любилъ онъ тоже, когда другіе говорятъ и рассказываютъ, и потому подсаживался къ компаніи женщинъ, окружавшихъ странницу, и къ компаніи кучеровъ, обсуждавшихъ

вопросъ задняго двора и конюшень, и въ компаніи молодыхъ дѣвушекъ, впервые посвятившихъ его на зарѣ его жизни въ тайны гульбы и разврата. Впрочемъ, къ нему ничто не приставало: онъ даже и развратнымъ не сдѣлался, потому что это нарушило бы его созерцательныя склонности; онъ только любилъ смотрѣть на чужой разгулъ и развратъ. Въ сущности, онъ былъ духомъ чистъ и невиненъ; онъ способенъ былъ развлекаться самыми невинными удовольствіями, — такъ ему доставляла неописанное удовольствіе во время прогулки по общественному саду возможность вымазать углемъ усы и бороду у бюста сатира, поставленнаго въ этомъ саду; также приходилъ онъ въ восторгъ, когда ему удавалось воткнуть въ разинутый ротъ этого же сатира какой-нибудь окурокъ папиросы; въ этихъ случаяхъ онъ хохоталъ до слезъ, держась за бока. Это, конечно, свидѣтельствоvalo о чистотѣ и невинности души. Этого строя жизни не могло нарушить существенно ученье дома, долженствовавшее начаться теперь.

На слѣдующій же день послѣ знаменатель-

наго рѣшенія родителя оболтуса былъ торжественно отслуженъ на дому молебенъ св. Козьмѣ и Дамьяну, послѣ чего была подана плотная закуска, а затѣмъ началось и ученье. Ученье было не легкое: мучился отъ него оболтусъ, мучился отъ него и учитель оболтуса. Ученикъ выбился изъ силъ, чтобы научиться держать въ коротенькихъ, пухлыхъ пальцахъ грифель, карандашъ или перо и выводить каракули буквъ; въ учителя же летѣли изъ рукъ раздражаемаго неудачею оболтуса тетради и книги, при чемъ нерѣдко наносились и пинки ногами брыкавшагося ученика. — Ученика бросало въ потъ отъ полчасового сидѣнья на урокъ въ согнутомъ положеніи; учитель же прилагалъ всѣ старанія, чтобы протянуть законный часъ на урокъ и не заслужить брани и попрековъ хозяина за то, что онъ даромъ деньги беретъ. Къ счастью оболтуса, ученіе продолжалось не особенно долго. Въ одинъ прекрасный день, онъ самъ своимъ умомъ рѣшилъ, что учиться ему довольно, и сказалъ объ этомъ учителю. Жалкій, забитый приказный, исправлявшій при немъ обязанности учителя, даже струси-

ль отъ такого рѣшенія ученика.

— Какъ же это такъ довольно? — проговорилъ онъ упавшимъ голосомъ. — Только до самой сути, до грамматики добираться стали и вдругъ — довольно.

— Да такъ вотъ и довольно! — настаивалъ ученикъ. — Ты такъ и тятенькѣ объяви, что, молъ, выучилъ.

— Нѣтъ, ужъ я этого грѣха на душу не возьму, лгать не стану.

— Ну, такъ я и самъ скажу.

Ученикъ захлопнулъ книгу съ широкимъ вздохомъ, точно свалилъ съ плечъ тяжелую ношу, и вышелъ изъ комнаты.

— Ты что рано урокъ кончилъ? — спросилъ его отецъ.

— Я, тятенька, все равно-съ больше ничему не выучусь, — рѣшительно объявилъ сынъ.

— Болванъ! — проговорилъ отецъ. — Дранъ еще не былъ.

— Это, тятенька, какъ вамъ угодно-съ, а только вы даромъ деньги за меня платите будете, потому я теперь и читать, и писать, и въ арифметику знаю, а этой грамматики мнѣ не

надо...

— Ты потолкуй еще! — пригрозилъ отецъ.

— Мнѣ бы теперь къ лабазу привыкать, потому что это дѣло наше вѣковѣчное, — храбро продолжалъ сынъ.

— Ну, ну, еще что скажешь! — постучалъ отецъ кулакомъ по столу. — Учить туда же, паршивецъ!

Тѣмъ не менѣе, учителю отказали.

— Грамматику бы еще пройти-сь, — жалобно протестовалъ учитель.

— Что, видно, деньги-то любишь получать, — замѣтилъ хозяинъ. — Еще бы, сидишь въ теплѣ; чаю даютъ, деньги платятъ, какъ не любить этого! Только мы, братъ, не по грамматикѣ деньги-то наживали. Ты-то ее знаешь?

— Какъ же-сь не знать, — робко отвѣтилъ учитель.

— А денегъ-то ею много нажилъ? Безъ сапогъ ходишь со своей грамматикой-то, — философствовалъ отецъ семейства. — Читать-то да писать хорошо выучилъ?

— Хорошо-сь, ваше степенство, — отвѣтилъ покорно учитель, глядя въ землю.



— Ну, а считать умѣть?

— Умѣть-съ, ваше степенство... Вотъ дроби бы...

— Я тебя спрашиваю о счетѣ... Считаетъ?

— Считаетъ-съ...

— Ну, и баста!

Такъ на томъ и покончили.

Уроки прекратились; оболтуса посадили въ лабазъ на ту самую голубую скамью съ шашечницей посрединѣ, на которой я видѣлъ его впервые, спустя десятокъ лѣтъ. На-этой скамьѣ сидѣлъ онъ зимою въ лабазѣ, на ней онъ сидѣлъ лѣтомъ у лабаза. Зимой онъ пилъ чай и игралъ въ шашки съ приказчиками и молодцами, лѣтомъ онъ пилъ чай и смотрѣлъ, какъ голуби и воробьи подпрыгиваютъ и дерутся у лабаза, подбирая крупу, овесъ, ячмень или рожь, какъ лошадь, впряженная въ телѣгу, отмахивается хвостомъ отъ мухъ и оводовъ или прядетъ ушами, сонливо прищуривая глаза, какъ мальчишки играютъ въ бабки или шлепаютъ по лужамъ, засучивъ по колѣна штанишки. Сидя на этой скамьѣ, онъ учился торговлѣ, обдѣлывалъ крупныя дѣла, прикидывалъ и скидывалъ на

счетахъ, обсчитывалъ кого слѣдовало, толковалъ о событіяхъ въ городѣ, въ Рассеѣ, въ Европѣ. Единственный и балованный сынокъ у отца и матери, вѣчно всѣмъ ублаженный и сытый до отвала, онъ не былъ ни золь, ни раздражителенъ, ни нервенъ. Онъ смотрѣлъ на все и на всѣхъ съ равнодушіемъ сытаго животнаго, ничѣмъ не волнуясь, ни любовью, ни ненавистью. Иногда предъ нимъ происходили печальныя исторіи: какой-нибудь разоренный помѣщикъ запродавалъ на корню рожь, какой-нибудь обнищавшій мужичонка кланялся изъ-за лишней копейки за продаваемый хлѣбъ, — онъ смотрѣлъ на нихъ равнодушно, не прибавляя ни полушки къ объявленной цѣнѣ, и только въ крайнихъ случаяхъ съ нѣкоторымъ нетерпѣніемъ замѣчалъ:

— Ну, ну, не проклажайся, проваливай! Сказалъ: не рука, значитъ, и толковать нечего!

Когда несчастные продавцы уходили, онъ замѣчалъ:

— Плуть нонича народъ: онъ тебя коли ножомъ пырнулъ не можетъ, такъ слезами донять хочетъ! Юни распустишь, а ты

заѣвайся, онъ тебѣ карманы-то и выворотить!

Онъ подавалъ гроши нищимъ, но это дѣлалось какъ бы по обычаю, какъ-будто подаваніе полушекъ нищимъ входило въ число его торговыхъ операцій. Сожалѣнія или какого-нибудь другого чувства эти люди въ немъ не пробуждали и изъ нихъ онъ особенно благоволилъ только къ одному спившемуся съ круга приказному, который умѣлъ ловить пятаки на лету ртомъ и отличался способностью слизывать языкомъ съ мостовой брошенный на нее гривенвѣкъ. Этому приказному подавались болѣе крупныя подачки. Нравилась ему еще одна, Богъ вѣсть откуда заброшенная въ городъ, дѣвочка-итальянка, ходившая съ шарманщикомъ. Оборванная до-нельзя, съ грязнымъ тѣломъ, просвѣчивавшимся сквозь лохмотья, она кривлялась, пѣла и плясала какой-то циничный танецъ подъ звуки шарманки, — идолу это нравилось, и разъ онъ даже пригласилъ дѣвочку съ шарманщикомъ во дворъ, гдѣ онъ и его молодцы натѣшились вволю надъ выходками развращеннаго ребенка, которому

была брошена за потѣху красненькая. Эта потѣха служила съ недѣлю предметомъ шутокъ и остротъ въ лабазѣ.

— Ишь вѣдь чѣмъ ухитрится бестіянѣмецъ хлѣбъ добывать! — смѣялся Псой Сысоичъ. — Нѣтъ, наши не дошли еще до такихъ штукъ. Сытъ еще народъ!

Одинъ изъ мальчишекъ лабаза, въ угоду молодому хозяину, даже перенялъ нѣкоторыя изъ самыхъ грязныхъ выходокъ дѣвочки-бродяги и потѣшалъ ими идола.

\* \* \*

Былъ у оболтуса и свой періодъ «бурь и волненій», когда оболтусу исполнилось восемнадцать лѣтъ и когда его, для окончанія коммерческаго образованія, послали въ русскій коммерческій университетъ — на нижегородскую ярмарку. Правда, дѣла и здѣсь онъ не дѣлалъ, такъ какъ всѣ дѣла лежали на опытныхъ приказчикахъ, но онъ учинялъ здѣсь или, вѣрнѣе сказать, заставлялъ учинять подвластныхъ ему людей «карамболи». Разъ онъ «накатился» такъ, что вдругъ приказалъ бить зеркала въ трактирѣ: перебили зеркала, расплатились и увезли его въ заня-

тый имъ номеръ. Въ другой разъ онъ съ компаніей попалъ въ веселый домъ: здѣсь опять «накатывались» подъ звуки музыки, пѣнія, пляски и разнузданныхъ рѣчей и «накатились» до того, что послѣ всевозможныхъ сценъ разгула и разврата онъ отдалъ приказъ: «выпускай пухъ изъ перинъ и подушекъ»; выпустили пухъ изъ перинъ и подушекъ, осыпали имъ всю улицу, заплатили «за дебошъ» и увезли идола снова въ занимаемый имъ номеръ. Въ это же время онъ заплатилъ не малые деньги за то, чтобы нѣсколько человѣкъ прошло нагишомъ по улицѣ, и долго вспоминалъ съ восторгомъ объ этомъ «шкандальѣ». Правда, и здѣсь онъ былъ почти постоянно зрителемъ, а не дѣятелемъ, но онъ усталъ даже смотрѣть и командовать и воротился домой съ еще большимъ стремленіемъ къ миру и покою.

— Степенный у васъ, матушка, сынокъ выросъ, — начали говорить его матери знакомыя купчихи.

— Нечего Бога гнѣвить, — отвѣчала мать: — какъ красная дѣвушка, смиренъ. Да не въ кого и быть-то другимъ; сама я не смутьянка, не

хабалка какая-нибудь была, а мой Сысой Псоичъ, сами знаете, его не тронь, такъ ужъ онъ-то и подавно никого не тронетъ. Сидитъ въ своемъ лабазѣ, при своемъ дѣлѣ и ни въ какія дѣла не мѣшается. У насъ, матушка, и своихъ дѣловъ не оберешься.

— Знаю, знаю, тысячныя дѣла! — вздыхала собесѣдница.

— Не стану Бога гнѣвить, есть достатокъ, — соглашалась хозяйка. — Не первый годъ дѣло ведемъ, не прощелыги какіе-нибудь, отъ отцовъ заводъ всему пошелъ. Тоже вотъ и про себя скажу, ину пору съ ногъ собьешься, одну провизію выдававши. Тоже всѣхъ накормить надо, и приказчиковъ, и молодцовъ, и мальчишекъ. Ртовъ-то много, а держимъ не впроголодь, своего человѣка не обидимъ.

И мать Псоя Сысоевича пускалась въ разсужденія о своихъ добродѣтеляхъ.

— Ну, ужъ и королевичъ же писанный вышелъ у васъ Псой Сысоевичъ, — тараторила одна изъ городскихъ свахъ. — Бѣлый, румяный, полный, точно огурчикъ, съ грядки не сорванный. Ужъ такого-то жениха и въ Москвѣ днемъ съ огнемъ не найдешь. Гдѣ-то

только ему невѣсту найдешь по плечу.

— Что же, можетъ, Богъ и пошлетъ, — вздыхала мать Псоя Сысоевича. — Мы за богатствомъ не погонимся, была бы дѣвка здоровая, да смиренная, а деньги и у самихъ есть. На ихъ вѣкъ хватить.

— Что говорить! Что говорить! — соглашалась сваха. — Поди-ка, тоже на кого-нибудь засматривается. Въ порѣ человекъ, тоже все такое на умъ идетъ.

— Не стану врать, не примѣчала что-то, — отвѣчала мать завиднаго жениха. — Онъ у насъ смиренникъ, прокатается на пролеткѣ, послушаетъ, какъ молодцы ину пору поютъ, въ театрѣ посидитъ вечеръ, вотъ и все, а чтобы компанію съ кѣмъ-нибудь особенную водить, такъ этого у него нѣтъ. На подъемъ тяжелъ. Да ему и не для чего себя утруждать: захочетъ — всякій къ нему придетъ.

— Что говорить, что говорить, милліонщикъ! — кивала головой въ знакъ согласія сваха.

Всѣ эти разговоры наводили на мысль, что и точно Псоя Сысоевича пора женить. Только онъ самъ и не заикался объ этомъ, и не за-

думывался, какъ будто онъ-быль вполнѣ увѣренъ, что его женятъ во-время и безъ его хлопотъ и усилій. И дѣйствительно, свахи одна за другою все чаще и чаще стали навѣщать его мать. Наконецъ нашлись и подходящія невѣсты. Ихъ было двѣ, и мать не знала, которую выбрать изъ нихъ. Посовѣтовалась она съ мужемъ, мужъ тоже не могъ рѣшить. Призвали самого Псоя Сысоевича и предложили ему рѣшить, которую изъ двухъ невѣстъ онъ желалъ бы взять въ жены. Псой Сысоевичъ отвѣтилъ, что ему все равно, такъ какъ обѣ онѣ «видныя, здоровыя и изъ себя красивыя».

— Я только сомнѣваюсь одно, ко двору ли намъ будетъ Анна Спиридоновна, — замѣтилъ онъ. — Она черноволосая, а у насъ, тятенька, сами знаете, и коровы черныя, и лошади вороныя не ко двору. Помните, позапрошлый годъ Жучку завели, ужъ, кажется, собака простая, а и то сбѣсилась и сдохла.

— Ну, дуракъ, къ чему невѣсту приравни-  
лѣ, — замѣтилъ отецъ, разсмѣявшись отъ остроумнаго замѣчанія сына.

— Нѣтъ-съ, я, ей-Богу, въ серьезъ говорю, — разбитнымъ тономъ проговорилъ сынъ. — И



вы, и маменька, и я, всѣ русые... да у насъ и изъ приказчиковъ-то ни одного нѣтъ черно-волосаго, всѣ какъ есть подъ одну масть...

— Ну, что-жъ, значить и надо брать не Анну Спиридоновну, а Марью Ивановну, — рѣшилъ отецъ.

Такъ и совершилось это дѣло безъ всякихъ усилій со стороны Псоя Сысоевича, хотя это дѣло, по словамъ свахъ, и было не легкое, такъ какъ изъ-за самаго этого дѣла свахи по ихъ же словамъ, «всѣ ноженьки оббили, всѣ пороги обѣгали, всѣ подолы обтрепали».

Повидимому, Псой Сысоевичъ, совершенно равнодушно, совершенно безучастно мѣнялъ свою холостую жизнь на жизнь женатаго человѣка и, въ дѣйствительности, новая жизнь не многимъ должна была отличаться отъ прежней жизни, если не считать важною переменой замѣну односпальной кровати двуспальной и введеніе въ его спальню новаго лица. Но какъ бы то ни было, молодые приказчики и немногіе товарищи Псоя Сысоевича настроились наканунѣ свадьбы на какой-то плачевный тонъ:

— Теперь, братъ, прощай! — говорили они

ему. — Теперь, братъ, и близокъ будетъ локоть, а не укусишь! Прежней волюшки молодецкой не вернешь...

Псоя Сысоевича это такъ разстроило, такъ ему жаль стало этой волюшки, что онъ всплакнулъ даже на чьемъ-то плечѣ и крикнулъ:

— Я сегодня завихрюсь! Катай во всю Ивановскую, чтобы было чѣмъ молодость помянуть!

И справилъ онъ «мальчишникъ»! И баня, и шампанское, и пѣсенники, и цыганки, и «карамболь», и «шкандаль», и «дебошъ», все тутъ смѣшалось въ какую-то безшабашную, безумную оргію. Это творились Псоемъ Сысоевичемъ поминки по вольной волюшкѣ, которою онъ никогда и не думалъ пользоваться до этого дня. И долго-долго вспоминалъ онъ этотъ день, и ему казалось, что это былъ не одинъ день, а цѣлый рядъ пережитыхъ дней, что это былъ не день, а цѣлая молодость.

Этотъ безумный, неожиданный разгулъ не смутилъ ни отца, ни мать Псоя Сысоевича, и они, вздыхая, говорили:

— Тоже не легко съ волюшкой-то расста-

ваться... Не легко жену-то себѣ навязать. Еще какая она тамъ будетъ — Господь знаетъ... Вѣдь это навѣкъ!..

И они всплакнули тоже.

\* \* \*

Послѣ женитьбы жизнь Псоя Сысоевича окончательно установилась, опредѣлилась, вошла въ свою колею «навѣкъ». Это была жизнь спокойная, однообразная, животная. Въ ней не проявлялось никакихъ новыхъ стремленій, никакихъ новыхъ надеждъ, никакихъ новыхъ порывовъ, точно онъ былъ не человѣкъ, а только одна утроба, всегда съ избыткомъ насыщаемая и потому всегда спокойная въ своей сытости. Только иногда проявлялось что-то такое, что намекало на какую-то неудовлетворенность, на какое-то бессознательное пробужденіе человѣка въ сытомъ животномъ. Эти проявленія были странны: разъ они выразились въ томъ, что Исой Сысоевичъ вдругъ запилъ, закутилъ. Но отецъ, мать и жена начали его тотчасъ же лѣчить, стали поить водкой, настоянной на девяти клопахъ, и водкой, настоянной землею съ могины какого-то тезки Псоя Сысоеви-

ча, пробовали его возить къ знахарямъ, подняли какую-то чудотворную икону, заставили сходить куда-то въ монастырь на поклоненіе къ мощамъ, стали, по совѣту какого-то фельдшера, обертывать его въ смоченныя горячей водой простыни, — и послѣ всѣхъ этихъ истязаній «болѣзнь» прошла, обычная жизнь вошла въ свою колею. Въ другой разъ Псою Сысоевичу вдругъ пришло въ голову, что у него есть богатство, но почета мало, и онъ началъ бредить полученіемъ медали. Начались жертвованія на пріюты, на богадѣльни, знакомства съ нужными людьми, — и мечта сбылась: медаль получилась. Недѣли двѣ Псой Сысоевичъ даже спалъ съ медалью. Но потомъ она ему надоѣла, и опять, не думая ни о ней, ни о почетѣ, онъ зажилъ жизнью безъ желаній, довольный и міромъ, и собою. Былъ еще одинъ случай, когда Псой Сысоевичъ вышелъ изъ своего благодушно-безмятежнаго настроенія и чуть не умеръ отъ удара. Это было въ тотъ памятный день, когда его впервые въ глаза назвали «идоломъ». Назвалъ его идоломъ простой мужикъ, худой и мрачный съ виду, пившій запоемъ отъ бѣдности или

бѣдствовавшій отъ запоя, привезшій продавать послѣдній хлѣбъ за безцѣнокъ. Псой Сысоевичъ сотни разъ покупалъ за безцѣнокъ чужой хлѣбъ и этотъ мужикъ тоже не впервые уступалъ за безцѣнокъ свой хлѣбъ. Но вышло на этотъ разъ какъ: то такъ, что Псой Сысоевичъ, сбивая цѣну, слишкомъ грубо и рѣзко сказалъ ему: «проваливай, проваливай, если говорятъ, что не рука», а мужикъ — болень онъ былъ, что ли, — ни съ того, ни съ сего восчувствовалъ эти слова и разразился желчными упреками. Въ обыкновенное время въ этихъ случаяхъ разговоры имѣли наивно и дружески благодушный характеръ.

— Да накинь, Псой Сысоичъ, гривну-то, — говорилъ вкрадчивымъ тономъ мужикъ.

— Гривень-то этихъ у меня для васъ не припасено, — отвѣчалъ добродушно-иронически Псой Сысоевичъ.

— Такъ-то оно такъ, да самъ знаешь, какое наше житье, — почесывался мужикъ въ раздумьи. — Тебѣ что гривна?

— Да то же, что и тебѣ,- отвѣчалъ торговецъ. — У насъ курса въ государствѣ одна и для купца, и для мужика.

— Это что говорить! Да цѣну-то ты не по-Божески назначаешь, — мялся мужикъ.

— А ты туда иди, гдѣ больше даютъ, — совѣтовалъ Псой Сысоевичъ.

— Да куда-жъ пойдешь, ты у насъ одинъ, — говорилъ мужикъ.

— Ну, такъ и отдавай, а то проваливай! — отвѣчалъ Псой Сысоевичъ. — И чего ты томишь-то меня? Просиль я тебя рожь-то привозить?

— Чего просить!

— У меня-то, вонъ, отъ этой ржи-то амбары ломаются!

— Извѣстное дѣло, у кого-жъ ей и быть, какъ не у тебя.

— Ну, такъ на что же она мнѣ, твоя-то рожь? Помру я безъ нея, что ли?

— Зачѣмъ помирать.

— Ну, такъ и отваливай!

— Да чего ужъ, бери, бери! Давай деньги!

— Смотри, кошель-то цѣль ли, какъ бы не прорвался отъ эфтихъ денегъ-то, — шутилъ Псой Сысоевичъ.

Такъ дѣло и порѣшали мирно и ласково. А теперь случилось что-то необычайное. Псой

Сысоевичъ былъ чѣмъ-то раздраженъ и ни съ того, ни съ сего прикрикнулъ на мужика, а мужикъ, тоже ни съ того, ни съ сего, вдругъ началъ ругаться:

— Идолъ ты окаянный! Іуда Искаріотскій! Подавиться бы тебѣ сиротскими слезами! Смотри, утроба-то лопнетъ! Ишь брюха-то своего таскать не можешь! Право, идолъ!

Псой Сысоевичъ сдѣлался багровымъ отъ этой неожиданной, незаслуженной ругани и вскочилъ съ сжатыми кулаками и какимъ-то хриплымъ крикомъ. Но мужикъ не сробѣлъ и продолжалъ ругаться:

— Дратся, что ли, хочешь? Такъ нѣтъ, не на такого напалъ. У самихъ руки есть! Тумака довольно, такъ такъ и разсыплешься. Ишь, ожирѣлъ съ чужого-то хлѣба, идолъ.... право, идолъ!

Къ несчастью, въ лабазѣ, кромѣ мальчишки, никого не было, и Псою Сысоевичу нечего было думать о защитѣ. Онъ грузно опустился на свою голубую скамью и, тяжело переводя духъ, только бормоталъ:

— Да я бы съ тебя тысячи не взялъ за такія рѣчи! Да я бы тебя за нихъ въ бараній рогъ со-

гнуль! Окаянный!

А мужикъ все еще ругался и ругался. Наконецъ онъ плюнулъ, еще разъ повторилъ: «чтобъ тебѣ подавиться!» и ушелъ.

Псой Сысоевичъ заболѣлъ съ огорченія.

Но всѣ эти проявленія какихъ-то внутреннихъ тревогъ съ теченіемъ времени повторялись все рѣже и рѣже, тѣло все росло и росло и располагало духъ къ спокойствію и лѣни, жизнь все болѣе и болѣе принимала форму какого-то механическаго процесса.

Когда я познакомился близко съ Псоемъ Сысоевичемъ, онъ былъ уже окончательно ходячей утробой. Всѣ его дѣйствія походили на однообразныя, условныя дѣйствія машины; вся его жизнь состояла изъ извѣстныхъ обычаевъ, обрядовъ, совершаемыхъ сегодня такъ же, какъ вчера; всѣ его разговоры напоминали какіе-то отрывки изъ невѣдомаго кодекса мудрыхъ изреченій, изъ прописныхъ истинъ; всѣ его сужденія сложились въ какія-то пословицы, поговорки и присловья; въ его рѣчахъ не было ни оригинальности, ни самобытности, ни наблюдательности, но онъ говорилъ все съ степеннымъ видомъ, серьезнымъ



и рѣшающимъ тономъ и его считали всѣ умнымъ человѣкомъ; къ нему шли за совѣтомъ, который очень часто носилъ на себѣ характеръ темныхъ и двусмысленныхъ совѣтовъ оракула. Псой Сысоевичъ говорилъ:: «Народъ теперь избаловался, потому — воля!» «Сынки-то нонче спускаютъ тятенькины имѣнія, потому строгости нѣтъ». «Нѣмецъ дошлый, обезьяну выдумалъ, только ему до русскаго далеко, колбаснику». «Французъ поджаръ, щелкоперство у него на умѣ». «Англичанка намъ что: не отпусти хлѣба съ годъ — съ голоду подохнетъ». «Учить много мелюзгу-то начали, оттого и смятеніе въ умахъ». «Свой-то домъ обстрой прежде, а не заглядывай въ чужой, гдѣ тамъ каплетъ». Изъ подобныхъ изреченій состояла вся рѣчь Псоа Сысоевича и спорить съ нимъ было невозможно, потому что онъ на возраженія отвѣчалъ:

— А ты не мудри, а покоряйся да слушай, что умные люди говорятъ! Умные-то люди прежде насъ, дураковъ, жили.

Ученые комментаторы произведеній разныхъ великихъ писателей считаютъ, сколько различныхъ словъ является въ сочиненіяхъ

того или другого автора. Если бы они вздумали сосчитать, сколько словъ находилось въ распоряженіи Псоя Сысоевича, то они удивились бы ихъ крайне малому количеству и притомъ многія слова, бывшія въ распоряженіи Псоя Сысоевича, были, очевидно, непонятны ему самому и произносились имъ потому, что они ему почему-то нравились. Такъ онъ говорилъ: «Это формазойство одно!» или: «Станешь такъ-то банкировать, такъ и все спустишь!» или: «Что ты мнѣ рацеи разводишь» или: «Ботвинничаешь только, лежа на печи!» или: «Это одна прокламація!» Но чѣмъ болѣе сжатыми дѣлались его приговоры, чѣмъ бессмысленнѣе становились его изреченія оракула, чѣмъ сосредоточеннѣе становилась его созерцательно утробная жизнь, тѣмъ съ большимъ уваженіемъ смотрѣли на него.

— Святой жизни челоуѣкъ! — говорили про него странницы. — Практическій русскій умъ! — рассказывали про него избираемые имъ помѣщики. — Степенный челоуѣкъ! — толковали про него его собратья-купцы.

Только шальной пропойца-мужичонко, ко-

гда-то такъ неожиданно обругавшій Псоя Сысоевича, продолжалъ коситься на него и, проходя мимо его лабаза, сдвигалъ брови и мрачно бормоталъ:

— Ишь, идолице!

## VII

# Обломки старины

Э то было въ началѣ шестидесятыхъ годовъ. Я ѣхалъ въ третьемъ классѣ по Николаевской желѣзной дорогѣ въ Москву. Противъ меня помѣстилась старушонка, не то отставная нянька, не то салопница-приживалка, съ морщинистымъ лицомъ, цвѣта потемнѣвшаго пергамента, съ слезящимися глазами, вылинявшими отъ времени и моргавшими отъ слабости. Она долго ерзала противъ меня на своемъ мѣстѣ, укладывая разные узелки, коробочки и картоночки, долго вздыхала и охала, покачивая головой и бормоча что-то вполголоса, наконецъ, не выдержала и заговорила; любовь къ болтовнѣ, въ вывѣдыванью, къ рассказыванью, къ интимнымъ откровенностямъ сказалась сразу. Въ какія-нибудь пять минутъ старушонка узнала и «куда я ѣду», и «изъ какихъ я буду», и «женать ли я», и «есть ли у меня дѣти». Не желая говорить много о себѣ, я свелъ разговоръ на нее и спросилъ въ свою очередь, куда она

ѣдетъ.

— Въ деревню къ себѣ, батюшка, въ деревню, — отвѣтила старуха-говорунья. — Къ брату ѣду. Дѣтей у него крестила. Пусть пригрѣютъ старуху. Имъ что! Живутъ хорошо, ну, и послѣ меня имъ же все останется, пусть похоятъ старушонку. Въ накладѣ не будутъ.

— А вашъ братъ кто? — спросилъ я.

— Крестьянинъ, батюшка, крестьянинъ временно обвязанный, — отвѣтила старуха.

— А вы, вѣрно, гдѣ-нибудь въ услуженіи жили? — спросить я.

— Нѣтъ, батюшка, нѣтъ! При господахъ находилась съ мужень... изъ дворовыхъ мы были съ мужемъ-то, — отвѣтила старуха.

— Ну да, значить, какую-нибудь должности занимали при господахъ, — замѣтилъ я.

— Какъ тебѣ сказать, милый ты человекъ, я и не знаю! — проговорила старуха, качая головой. — Должности въ точности мы никакой не занимали, а такъ при господахъ состояли... на всѣ руки, значить... для наблюденія больше... Насъ-то много было, а баринъ всего одинъ, ну, вотъ и продавали больше слоновъ да

звѣзды на небѣ считали... Для потѣхи больше держали насъ господа-то... Дитѣй меня взяли въ домъ-то господскій, чтобы барышни учились... ихъ-то учили, ну, а меня сажали, чтобы имъ не скучно было. Потомъ пѣть я была мастерица, вотъ меня и заставляли для блезиру-пѣть... Ну, извѣстно, господамъ тоже ину пору скучно, вотъ и заставляютъ пѣть, потѣшать ихъ... У насъ въ старые годы и пѣвчіе, и музыканты, и актеры изъ дворовыхъ были... Мужъ-то мой упокойникъ, царство ему небесное, тоже при молодомъ барчукѣ росъ, чтобы барчукъ все-таки не одинъ былъ, поиграть съ кѣмъ могъ, потѣшиться... И ужъ чего съ нимъ, съ моимъ упокойникомъ-то, не выдѣлывалъ барчукъ въ дѣтствѣ, такъ я тебѣ и представить-то этого, дорогой ты мой, не могу! И верхомъ-то на немъ ѣздилъ, и въ телѣжку-то его впрягалъ, и разъ всю голову ему выщипалъ...

Я выразилъ недоумѣніе, какъ это барчукъ выщипалъ голову своему товарищу.

— Волосики-то, волосики-то всѣ повыщипалъ, — пояснила старуха. — Игру такую затѣялъ въ повара и пѣтуха, онъ-то, бар-

чукъ-то, видишь ты, за повара сдѣлался, а мужу-то моему, упокойничку, велѣль за пѣтуха быть, ну, и выщипаль волосики-то, перья, видишь, это щипаль. Известно, чего дитѣ не выдумаетъ, дай ему только волю! Долго такъ мой-то упокойничекъ безъ волосъ и ходилъ и боленъ былъ, да ничего — въ ребячьемъ-то возрастѣ волосы десять разъ успѣютъ вырасти; это вотъ въ наши-то годы оплѣшивѣешь, такъ ужъ и не нагуляешь новыхъ волосъ. Вотъ тебѣ, поди, никто и не дергалъ волосъ-то, а какъ повылѣзли, такъ и поминай, какъ звали. Охъ, годы — великое дѣло! Въ дѣтствѣ-то да въ молодости все это перенесешь, все-то переживешь, все-то это почишишь, а въ старости — нѣтъ, тугъ ужъ-ка жинный вонъ черенокъ отъ зуба и тотъ дорогъ, потому выпадетъ онъ, — новаго не будетъ.

Старуха засмѣялась старческимъ смѣхомъ и показала пальцемъ на остатки своихъ зубовъ.

— Такъ вы, значить, дворовыми вышли на волю безъ земли? — сказалъ я, заинтересованный ея рассказами.

— Мы-то? Нѣтъ, насъ допрежъ этой во-

ли-то въ чины произвели, мужъ-то мой титулярнымъ совѣтникомъ былъ, ну, и я по немъ чиновницей стала, — отвѣтила старуха. — Такъ теперь и состою при этомъ чинѣ, въ благородныя произошла. Только, конечно, прибыли-то съ этого мнѣ мало, потому пенсіи никакой нѣтъ, и сама знаю, что какая же я благородная... Такъ все потѣхи ради...

— Вѣрно, не дослужилъ вашъ мужъ до пенсіи? — спросилъ я.

— Да онъ, милый ты баринъ, и не служилъ никогда, а такъ для потѣхи, говорю я тебѣ, въ чинъ его произвели, вотъ и все, — отвѣтила старуха.

Я недоумѣвалъ.

— Какъ для потѣхи? — спросилъ я.

— Да такъ для потѣхи, вотъ и все! — отвѣтила старуха, и по ея лицу скользнула какая-то тѣнь грусти. — И родились мы съ нимъ на потѣху, и жили на потѣху и развѣ умерать-то только ужъ взаправду, а не въ шутку придется...

Она отерла губы морщинистыми пальцами, придвинулась ко мнѣ поближе и заговорила какимъ-то интимнымъ тономъ:



— Коли я тебѣ поразскажу, какъ мы жили, такъ ты диву дашься, потому что теперъ на такихъ людей, какъ господа наши да какъ мы грѣшныя, оскудѣніе пришло. Линія другая пошла и порядки новыя... Господа-то наши по самому своему роду, почитай, что первые по всей Россіи были, а не то, что изъ какихъ-нибудь поповичей, либо тамъ изъ купцовъ выщелкнулись. Князья, князья были! Осиновскими князьями прозывались, потому что Осиновскій уѣздъ споконъ вѣку въ ихъ подданствѣ состоялъ, когда еще и Петра-то императора не было и въ поминѣ, они уже Осиновскими князьями были; и царь Иванъ Грозный когда былъ, такъ они ужъ осиновскими землями правили и допрежь того всегда такъ и прозывались князьями Осиновскими. Да что говорить: молодой баринъ, бывало, смѣется: «Осиновскіе-то князья прежде Адама еще жили, такъ ужъ не съ ними тягаться какимъ-нибудь парвенямъ». Парвенями онъ это, милый ты человекъ, всѣхъ звалъ, кто ниже его родомъ-то былъ, изъ презрительности, значить. А кто же это не ниже-то его былъ? Всѣ, какъ есть всѣ! Такъ вотъ у какихъ господъ мы под-

данными были... баринъ-то молодой насъ своими подданными звалъ, шутникъ былъ, царство ему небесное! И жилъ, и умеръ шутникомъ, а жилъ-то тоже семьдесятъ годовъ съ хвостикомъ на свѣтъ;- не мало! Ну, да и то сказать, съ чего ему было и не шутить! Дворцы — чаши полныя, крестьянъ — и не пересчитать, сколько ихъ было, почетъ — да гдѣ же ему почету не было: и въ Рассеѣ, и въ заграницѣ, вездѣ его почитали, потому и богатъ, и знатенъ, и щедръ былъ, охъ, какъ щедръ, такъ это я тебѣ и представить не могу.

— Что же, онъ служилъ? — спросилъ я.

— Ну, этого я тебѣ не скажу, милый ты человекъ, а по военному сословію числился и въ генералы въ молодые еще годы произошелъ, — отвѣтила старуха, отирая губы:- служить же... что-то я мало видѣла, чтобы онъ служилъ. Все это, бывало, ѣздить на своихъ орловскихъ, на балахъ танцуетъ, по заграницамъ катается, а служить... да, милый ты человекъ, на что ему служить было при его капиталѣ и знатности? Числился только такъ для своей прихоти, да видимости, на службѣ, а утруждать себя службою надобности ника-

кой не имѣлъ. «У меня, бывало, говорить, — и свои подданные, и свое войско, орда безпардонная». Это онъ крестьянъ подданными называлъ, а насъ, дворовыхъ, войскомъ да ордой безнардонной. Да насъ и точно орда была и порядки у насъ одно время военные были. По барабану завелъ это нашъ потѣшникъ будить насъ. Забьетъ, бывало, барабанщикъ въ барабанъ, ну, значитъ, поднимайся и на мѣста стройся. Дворецкій обойдетъ, осмотритъ, каждый ли при своемъ оружїи, оружїемъ-то называли щетки у полотеровъ, у дѣвушекъ сѣнныхъ пядьца, иголки, нитки, у комнатныхъ лакеевъ салфетки, метелки для пыли, ну, вотъ все, что кому нужно имѣть по его должности и сословію, — и если все въ порядкѣ,- начинается служба. Тоже были у насъ въ тѣ поры и пожарныя тревоги: зазвонятъ, это, вдругъ днемъ или ночью въ колокола и долженъ кажинный человѣкъ въ домѣ браться за ту вещь, которая назначена ему для спасенія въ случаѣ пожара. Если кто не успѣетъ къ своему мѣсту во-время прибыть, того сейчасъ и на расправу. «Изъ-за тебя, мошенникъ, у меня мой Ватто сторѣлъ! — крик-

нетъ баринъ, — Ваттомъ это онъ картины такія называль, — ты за него у меня и запла- тишь!» Ну, извѣстно, бѣдному человѣку чѣмъ платить: шкурой своей платить. Посѣкутъ его за провинность — вотъ и расплатился. Ину пору пожарныхъ тревогъ баринъ, бывало, долго не дѣлаетъ, а тамъ вдругъ два-три дня подъ-рядъ весь домъ по ночамъ поднимаетъ. Тоже любилъ онъ мальчишекъ артикуламъ военнымъ обучать, цѣлый полкъ у него потѣшный былъ, мундеры и значки понадѣланы всѣмъ были, крѣпости ихъ водилъ брать. Иногда настоящихъ генераловъ въ имѣніе приглашалъ на маневры. Ну, тѣ, извѣстно, смѣются, хвалятъ, поблажаютъ ему. Разъ такъ на маневрахъ этихъ самыхъ войско свое завелъ, что чуть и самихъ настоящихъ генераловъ не потопить. Повелъ ихъ въ бродъ, перемочилъ всѣхъ, измаялъ, — ну, а ничего, смолчали. Извѣстно, богатъ былъ! Потомъ только и это ему все надоѣло, бросилъ...

— Однако, шутникъ же онъ у васъ былъ, — замѣтилъ я.

— Да, шутникъ, шутникъ! — вздохнула старуха. — А иногда на него михлюдія,

болѣзнь такая, нападала, омрачится, затоскуетъ-затоскуетъ и сейчасъ запрется отъ всѣхъ, никого не принимаетъ, коли кого увидить случайно изъ знакомыхъ — отворотится, будто бы и не знаетъ. И въ это время дѣлай въ домѣ, что хочешь, — ему все равно. Въ эти дни только мой упокойничекъ Иванъ Тарасовичъ и смѣлъ къ нему кабинетъ входить и даже не только, бывало, говорить съ нимъ баринъ, а усадить его у себя, спрашиваетъ, какъ крестьяне живутъ, довольна ли дворня, не просить ли кто о чемъ, не жалуется ли на что-нибудь. «Скоморохъ ты. Иванъ», скажетъ онъ моему-то упокойничку. — «Скоморохъ, ваше сіятельство!» отвѣтитъ Иванъ-то. — «Дуракъ, нашель чѣмъ хвастать! Подло быть скоморохомъ! Человѣкомъ нужно быть, человѣкомъ!» скажетъ князь. И бѣда, если Иванъ тутъ вздумаетъ какую-нибудь штуку выкинуть, чтобы князя потѣшить. Раскричится, растопается князь. Я тебя одного за человѣка, почитаю, а ты что дурака-то ломаешь! — крикнетъ онъ. — Я съ тобой душу отвести хочу, а ты мнѣ глаза отводишь! И ужъ въ это время Иванъ что хотѣлъ, то и дѣлалъ

изъ барина. Одному одно выпросить, для другого другое выхлопочеть, третьему третье устроить. Баринъ на все соглашается, а самъ ходитъ по кабинету, вздыхаетъ, подергиваетъ усы да говорятъ: «Скоморошничаемъ, скоморошничаемъ, а люди-то, люди-то что выносятъ!» И все-то, всякая-то мелочь до самаго сердца въ это время доходила, душу его выворачивала...

Старушка задумалась и начала жевать почти беззубымъ ртомъ.

— Много нажилъ вашъ мужъ? — спросилъ я.

Старушка вдругъ оживилась, взволновалась.

— Какъ это, батюшка, много-то нажить! — проговорила она почти съ укоромъ. — Жалованье-то небольшое было, а у насъ и крестники, и посажёныя дѣти, и сироты разныя были, такъ тутъ не наживешь. Много ртовъ-то кормили, чтобы тоже люди спасибо сказали да помянули добромъ послѣ смерти.

— Но вѣдь вы же говорите, что князь вашему мужу ни въ чемъ не отказывалъ, — сказала я.

— Не отказывалъ, не отказывалъ, да ничего для себя мой упокойничекъ-то не просилъ, — проговорила старуха. — Не за господина онъ князя считалъ, а за отца, за брата. Не ему было обирать да подачки выпрашивать, когда князь его, холопа, до себя поднялъ да душу ему свою открывалъ. Родные были у князя, друзья знатные были у него, жена была, а второго Ивана у него не было. «Ты, Иванъ, — говорилъ онъ, бывало:- слышалъ мое первое слово, ты примешь и мой послѣдній вздохъ. Другіе мнѣ только лгали, а ты мнѣ говорилъ только правду!»

Старушка опять задумалась и помолчала.

— Нѣтъ, не такой человекъ былъ мой упокойничекъ, чтобы наживаться, — проговорила она, спустя минуту, и прибавила:- Да и то сказать, сталъ бы наживаться, такъ его и духу не было бы у князя. Дотуда его и любилъ князь, покуда онъ зналъ, что Иванъ не изъ корысти ему, какъ собака, преданъ. Князя тоже провести было трудно, по глазамъ читалъ, что человекъ думаетъ. Станутъ ему говорить что-нибудь про человека, а онъ смотритъ такъ прямо, прямо въ глаза, а самъ все слуша-

еть, слушаетъ да вдругъ и оборветъ: «все-то ты, братецъ, врешь и врешь!» Сгорить это, просто, человѣкъ со стыда-то...

Мы доѣхали до большой станціи, и я пошелъ обѣдать, прервавъ на-время бесѣду со старухой.

\* \* \*

— Да, примѣчательный человѣкъ былъ князь, а случился грѣхъ и его обошли, — заговорила старуха, когда я снова вернулся въ вагонъ.

Она, очевидно, во время моего отсутствія мысленно продолжала теперь рассказъ именно съ той точки, на которой остановилась, — съ способности князя читать по глазамъ чужія мысли.

— Кто же это его обошелъ? — спросилъ я.

— И сказать-то срамъ: наша сестра, баба, — отвѣтила старуха, качая головой.

— Это интересно, расскажите! — попросилъ я свою собесѣдницу.

Она только этого и ждала.

— Ну, я тебѣ, милый ты мой человѣкъ, все по порядку расскажу, — заговорила она, подсаживаясь половчѣе и отирая рукою ротъ. —



Князь нашъ былъ женатъ. Долго онъ это такъ по холостому куролесилъ, по заграницамъ разнымъ актеркамъ и пѣвуньямъ деньги за свое удовольствіе платилъ, на чужихъ женъ тысячи за ихъ снисхожденье бросалъ. Наконецъ, надоѣла ему эта самая канитель. «Ты, говоритъ, Иванъ женился, пора и мнѣ, чѣмъ я хуже тебя!» Это онъ моему Ивану-то Тарасовичу упокойничку говорилъ, а Иванъ-то Тарасовичъ только-что поженился на мнѣ, — рабеночка ждали мы, ну, и поженились, не стану грѣха таить передъ тобой, милый ты человекъ, дѣло прошлое, давно мы слюбимшись были, а тутъ, какъ затяжелѣла я, Иванъ Тарасовичъ и прикрылъ грѣхъ, чтобы не зазорно было. Кто Богу не грѣшенъ! Ну, такъ вотъ и говоритъ князь, что и онъ, глядя на моего Ивана Тарасовича, жениться вздумалъ. Сказано — сдѣлано. Приглянулась ему одна барышня... Да ужъ и мудро было не приглянуться: лѣбедь бѣлая, роза-сантифолія, сахаръ-рафинатъ и знатности очень большой, — изъ первѣйшихъ петербургскихъ графинь родомъ. Какъ только князь сдѣлалъ ей предложеніе, такъ тотчасъ же она и согласіе

дала и родители ея сопротивленія не оказали. Князь-то нашъ былъ и постарше ея гораздо, и мало она его знала, а пойти пошла съ радостью: дѣла-то, видишь, денежныя у ея папеньки продырявились, а знатность того доказывать не дозволяла, вотъ и она, и папенька ея и обрадовались предложенью-то князя, знали, что и десятерыхъ такихъ, какъ они, князь на настоящую доску поднять можетъ. Ну-съ, поженился князь, отдѣлалъ дворецъ въ Питерѣ, зажилъ съ молодой женой открыто: балы, театры, собранія — хорошая жизнь, барская, кажется, и умирать не надо. Только одно горе: гусь свинѣ не товарищъ, какъ говоритъ наша мужицкая-то пословица. Пожениться-то господа поженились, а сойтись-то не могли. Оба они и важныхъ родовъ были, и обучены по-французскому были, а карактеры-то — ну, вотъ, какъ небо и земля, отличались. Нашъ-то князь на людей все больше съ насмѣшкою, съ издѣвательствомъ, съ презрительностью смотритъ, всѣхъ подлецами, да низкопоклонниками, да прохвостами честить, точно вотъ на проломъ медвѣдь впередъ ломить, а она все на политикѣ, все по-

петербургскому съ улыбками да съ церемоніями, «очень рада-съ да милости просимъ», а отвернулъ челоуѣкъ отъ нея голову — «не принимай, говорить, его больше» — одно слово, петербургское обращеніе. И не сошлись, и не сошлись! Наша она на князя нападать: «ты, говорить, медвѣдь!» «ты, говорить, обращенія не знаешь!» «ты, говорить, враговъ нажилъ и всѣ на тебя косятся!» «ты вѣчно въ опалѣ!» А князь смѣется: «Князья, говорить, Осиновскіе ничьихъ рукъ не лизали и никому сапогъ не чистили, а у нихъ стаивали въ прихожихъ многіе изъ тѣхъ, до кого теперь и рукой не достанешь! У меня, говорить, есть одинъ челоуѣкъ, котораго я уважаю — это мой Иванъ, а остальные прохвосты и только!» Княгиня пожметъ, бывало, плечами: «холопа уважаешь, а людей своего круга третируешь!» Князь только засмѣется: «Холопа? говорить. Ну, вотъ погоди, я его въ чины произведу». Въ это-то самое время онъ моего Ивана Тарасовича и на волю отпустилъ, и приписалъ къ какому-то департаменту и чинъ ему выхлопоталъ, извѣстно, все для своей потѣхи: «Ну, вотъ, говорить, Ванька и не холопъ, а его

благородіе!» Княгиня только плечами пожалала: «Чудодѣй ты, говорить, и больше ничего!» Такъ это кондры у нихъ съ первыхъ дней пошли: князь ея гостямъ грубитъ, она его штуки чудодѣйныя осуждаетъ, ну, а съ виду ничего, — живутъ какъ будто и ладно. Только разъ князь спросилъ при княгинѣ у моего упокойничка: «Ну, а какъ ты со своей Настасьей Ивановной живешь?» Это меня-то Настасьей Ивановной, родной мой, зовутъ. «Ничего, — говорить Иванъ Тарасовичъ, — живемъ ладно». — «Вмѣстѣ?» спрашиваетъ. — «Да нешто порознь можно? — смѣется Иванъ Тарасовичъ. — Бабу затѣмъ и берутъ, чтобы подъ рукой была». — «И потрафляетъ, говорить, на тебя?» — «Какъ не потрафлять, — отвѣчаетъ Иванъ Тарасовичъ. — На то и замужъ шла, чтобы потрафлять!» — «Такъ, такъ, — кивнулъ головой князь. — Я вотъ то же думалъ!» Больше ничего и не сказалъ. Къ чему бы онъ это спрашивалъ? думали мы съ Иваномъ Тарасовичемъ. Ужъ не къ тому ли, что недоволенъ онъ, что княгиня съ нимъ на разныхъ половинахъ живетъ? Такъ вѣдь и то сказать, у господъ и всегда такъ. Начали мы присмат-

ривать да примѣчать, — странное что-то у насъ въ домѣ творится: князь омрачился, заскучалъ, замкнулся, михлюдія на него напала; княгиня все по баламъ да по тіатрамъ ѣздитъ, а о князѣ и не спроситъ, поминаетъ его только для того съ гостями своими, чтобы осмѣять да въ шуты вырядить. Слугъ-то у насъ было много, орда — одно слово, такъ это одинъ одно подслушаетъ, другой другое и все это промежъ себя передаютъ. Начали мы съ Ивановъ Тарасовичемъ узнавать, что нѣтъ князю у жены лучшаго имени, какъ «чудодѣй», да «шутъ гороховый», да «поврежденный», да «медвѣдь». Ужъ какъ-какъ она его не вышучивала со своими гостями-то, а гостей-то у нея всегда полны комнаты: извѣстное дѣло, ни она ничего не дѣлала, ни они никакихъ занятіевъ, кромѣ своего удовольствія, не знали, ну, и рыскали, она къ нимъ, они къ ней, только и слышишь, что колеса у подѣзда гремятъ, безпечальное житье! А чаще всѣхъ сталъ къ намъ наѣзжать какой-то молоденькій гусарчикъ. Кузеномъ она его звала, то-есть сродственникомъ, а ужъ съ какой стороны онъ ей сродственникомъ прихо-

дился, — этого я доподлинно сказать не умѣю, только видѣли мы, что ужъ онъ очень зачистилъ ѣздить къ княгинѣ. Пошли разные толки и по городу, и по людскимъ, дальше да больше, дальше да больше. А князь ровно ничего и не знаетъ. Вотъ только разъ были у насъ гости и вышелъ баринъ въ парадныя комнаты и такой веселый да разговорчивый. Говорили-говорили, какъ вдругъ баринъ спросилъ у своего тестя, у отца-то нашей княгини: «Просто не знаю, что дѣлать съ любовными шашнями, какъ отучить распутниковъ отъ этого баловства?» Тесть ему на это: «Остричь двумъ-тремъ косы, да выпоротъ двухъ-трехъ юбочниковъ на конюшнѣ, такъ уймутся». — «Вы думаете, что это лучше всего отучить отъ разврата?» спросилъ князь. — «Да, больше нечего дѣлать», отвѣтилъ князю его тесть. — «Ну, спасибо вамъ за добрый совѣтъ!» отвѣтилъ князь. Такъ разговоръ этимъ и кончился, а ночью... Ну, батюшка, еще сто лѣтъ проживу, а этой ночи я не забуду, — со вздохомъ проговорила старуха. — Разбудилъ это меня и Ивана Тарасовича самъ баринъ ночью и велѣлъ намъ идти за собой. Встали мы, по-

шли, думаемъ: «Господи, что такое стряслось!» Привелъ онъ насъ въ комнату къ барынь, а тамъ лежитъ на диванъ связанный кузень барыни, а барыня къ стулу привязана. Подозвалъ меня баринъ и говоритъ: «Вы, Настасья Ивановна, умѣете стричь волосы?» — «Умѣю», говорю, а сама стою ни жива, ни мертва, поджилки дрожатъ, такъ вотъ и шагаюсь, какъ пьяная. «Такъ вотъ, говоритъ, остригите косу княгинѣ. Тяжело ей, какъ честной женщиной, съ косою ходить». Я такъ и повалилась, какъ снопъ, въ ноги князю. «Помилуйте, молю, ваше сіятельство». — «Стригите», крикнулъ онъ, топнувъ ногою. Схватила я его за ноги, цѣлую ихъ, плачу, а онъ свое: «Стригите!» Потомъ обернулся къ княгинѣ и проговорилъ ей: «Или, можетъ-быть, хотите, чтобы я васъ для этой холопки пощадилъ?» Княгиня только зубы стиснула... Нечего дѣлать, остригла я ее, голубушку... Остригла, а сердце-то мое, ровно голубь, въ груди трепеталось... Потомъ велѣлъ князь мнѣ выйти и обернулся къ Ивану Тарасовичу: «Раздѣвай его!» указалъ онъ на княгининскаго кузена и тотчасъ же обратился къ этому самому кузе-

ну: «Отець вашей любовницы совѣтоваль мнѣ пороть юбочниковъ на конюшнѣ, но я сдѣлаю для васъ снисхожденіе и выпорю васъ здѣсь, въ ея будуарѣ». Иванъ Тарасовичъ не прекословиль, раздѣль связаннаго господчика, разложилъ его на софѣ, притянулъ къ ней веревками и началъ секуцію. Княгинѣ дурно сдѣлаюсь и чувствъ лишилась она. «Брось его!» крикнулъ тогда князь и обернулся къ лежавшему на софѣ кузену: «Теперь вы можете любить другъ друга, сколько вамъ угодно. Васъ сейчасъ препроводятъ въ домъ отца вашей любовницы». Съ этими словами онъ вышелъ изъ комнаты, приказавъ проводить мнѣ и Ивану Тарасовичу барыню и барина до поданной къ крыльцу кареты.

Старуха замолчала. Я вышелъ освѣжиться на станцію.

\* \* \*

— Съ той поры и зажилъ князь опять одинъ, безъ семьи, — продолжала старуха разсказъ, когда поѣздъ тронулся. — Бросаль онъ большія деньги на женщинъ, а приближать въ свой домъ ни одной не приближалъ. О женѣ онъ и не вспоминалъ; разъ только, ко-



гда дошли до него слухи, что она скутилась и умерла въ нищетѣ въ больницѣ за границей, онъ сказалъ моему Ивану Тарасовичу: «Это съ бездѣлья, Иванъ!..» Съ бездѣлья! ровно онъ помѣшался на этомъ словѣ. Бывало, что ни сдѣлается дурного, — онъ сейчасъ говоритъ: «это съ бездѣлья люди бѣсятся!» Ужъ и точно ли это такъ или нѣтъ, доподлинно не знаю, а только самъ-то онъ дурилъ такъ, что и не приведи Господи. Чѣмъ старше дѣлался, тѣмъ больше чудесиль... Подъ старость волосъ у него мало стало, такъ онъ завелъ семь париковъ и кажинный парикъ носилъ названіе какого-нибудь дня, и бѣда, бывало, если въ четвергъ ему пятницу подадутъ, — сейчасъ расправа: Тоже пристрастился онъ къ часамъ и сталъ закупать разныхъ часовъ: цѣлые ящички, цѣлыя комнаты были у него часами завалены; въ газетахъ публикаціи дѣлалъ, что покупаетъ древніе часы, часовымъ мастерамъ бѣднымъ всегда помощь готовъ былъ оказать, уроки часовому мастерству бралъ... А разъ пришелъ къ нему Иванъ Тарасовичъ въ кабинетъ и видитъ цѣлую груду часовъ на полу, растоптанныхъ, сломанныхъ, разбитыхъ.

«Что это, ваше сіятельство?» спрашиваетъ. — «Что? что? — крикнулъ князь. — Мое сумасшествіе! Мое бездѣлье! И собиралъ отъ бездѣлья, и растопталъ отъ бездѣлья! Уноси, уноси ихъ съ глазъ моихъ долой, чтобы они мнѣ не напоминали, что я сумасшедшій!» Увидалъ мой Иванъ Тарасовичъ, что онъ самъ не въ себѣ; въ изступленіи, и говоритъ ему, да таково-то спокойно и сердечно: «Какой же вы, князь, сумасшедшій? Развѣ вы этимъ зло кому дѣлаете, что часами занимаетесь! Хорошо, кабы всѣ-то такіе сумасшедшіе были да только этимъ и выказывали свое сумасшествіе!» Князь задумался. «Ты, Иванъ, мужикъ неотесанный, простота-горемычная, — проговорилъ князь: — а умнѣ меня! Ну, собирай битые, будемъ опять часы дѣлать!» Такъ опять и утихъ, и сталъ часовымъ мастерствомъ заниматься...

— Давно онъ умеръ? — спросилъ я.

— Съ нынѣшняго весенняго Николаы третій годокъ пошелъ, — отвѣтила старуха. — Умеръ тихо, ровно заснулъ, а за нимъ и мой Иванъ Тарасовичъ представился. Шести недѣль не выжилъ послѣ барина, на царя Константина

и матери Елены скончался. Затосковалъ, затосковалъ и скончался, голубчикъ мой. Видно, князю-то онъ, родной мой, и тамъ нуженъ былъ. И то сказать, вѣдь ровно за дитѣй, за княземъ, онъ въ послѣднее время ходилъ...

Старушка вздохнула и отерла слезы, наворачнувшіяся ей на глаза...

## VIII

# Бездѣльникъ по чужой винѣ

Судьба меня закинула въ деревенскую глушь, въ знакомую помѣщичью семью, на нѣсколько недѣль сладкаго бездѣлья. Я воспользовался имъ вполнѣ, бродилъ безцѣльно по полямъ и лѣсамъ, лежалъ по цѣлымъ часамъ на травѣ, слѣдя безъ мысли, въ полудремотѣ, за бѣгущими въ небѣ облачками, усердно ловилъ рыбу, забравшись въ рѣчныя заросли, катался по рѣкѣ въ лодкѣ, то до поту работая веслами, то лежа въ бездѣйствіи на днѣ и не заботясь, куда занесетъ меня теченіемъ, пилъ, вмѣсто вина и пива, парное молоко, купался по нѣсколько разъ въ день въ холодной водѣ, любуясь расшалившимися тутъ же крестьянскими ребятишками, и бросилъ не только книги, но даже и газеты. Я точно боялся, что печатная бумага напомнитъ мнѣ опять и срочныя корректуры, и обязательное чтеніе еще не напечатанныхъ статей, и журнальные дразги, и войну на перьяхъ, не закрѣпляющую ни пяди спорной

почвы ни за побѣжденнымъ, ни за побѣдителемъ и оставляющую все въ старомъ положеніи, на долгіе годы, быть-можетъ, на цѣлые вѣка, несмотря на массу поломанныхъ перьевъ и пролитыхъ чернилъ, ломавшихся и проливавшихся и прежде, чуть не съ сотворенія міра, за тѣ же идеи, за тѣ же убѣжденія, за тѣ же вопросы.

Гостепріимные друзья, открывшіе мнѣ радушно двери своего дома, ничѣмъ не нарушали образа моей жизни и сами, нуждаясь въ отдыхѣ, вели почти такую же жизнь «на подножномъ корму», какъ мы всѣ говорили въ шутку. Семья была не велика и состояла изъ добродушной старушки-хозяйки Марьи Ивановны Латкиной, изъ ея племянника и воспитанника, Михаила Петровича Обручева, учителя русской словесности въ одной изъ петербургскихъ гимназій, и изъ внучатной племянницы хозяйки, Ольги Александровны Ильмениной, только-что сдавшей выходные экзамены на педагогическихъ курсахъ. Въ семьѣ въ теченіе года были какія-то утраты, о чемъ свидѣтельствовали трауръ, не снятый обѣими женщинами, и произошла какая-то

драма, оставившая еще незажившіе слѣды въ сердцахъ всѣхъ членовъ семьи и потому заставлявшая ихъ искать уединенія, затишья, забвенія, если можетъ быть забвеніе для горя. Никто изъ этихъ людей не скучаль, не хандрилъ, не жаловался, напротивъ того, они старались быть бодрыми, старались быть веселыми, но едва уловимый слѣдъ грусти и печали, какъ легкое облачко, оставшееся на ясной лазури послѣ страшной грозы, еще напоминалъ, что прошлое если и прошло, то не забылось. Они не говорили объ этомъ прошломъ, я не спрашивалъ, зная по опыту, что спрашивать о прошедшихъ невзгодахъ — это значитъ заставлять человека наполовину переживать ихъ снова.

Но въ наше время ни въ какой глухой глуши не скроешься отъ разныхъ словесныхъ битвъ изъ-за вопросовъ дня, и въ одинъ прекрасный день онѣ живо вспомнились мнѣ снова, воскресивъ въ моей памяти наши петербургскіе кружки, наши передовыя газетныя статьи. У моихъ радушныхъ хозяевъ собралось небольшое общество гостей. Въ ожиданіи игорныхъ столовъ, всѣ сошлись по-

слѣ объѣда на террасѣ около чайнаго стола, и разговоръ сразу принялъ характеръ журнальной полемики, коснувшись одного изъ жгучихъ вопросовъ, интересовавшихъ какъ-разъ въ это время всю нашу прессу.

Какой-то немолодой, толстый, короткошей земець, только что возвратившійся изъ города послѣ засѣданій суда, съ жаромъ жестикулируя толстыми, короткими руками, рассказывалъ о послѣднемъ уголовномъ процессѣ.

— Вообразите, убила мужа, улики налицо и вдругъ оправдательный вердиктъ! — горячо рассказывалъ онъ, весь красный, весь лоснящійся, отирая пестрымъ шелковымъ платкомъ катившійся съ его лица обильный потъ. — Куда же мы идемъ? Какіе нравы готовимъ подобнымъ отношеніемъ къ преступникамъ, къ убійцамъ? Послѣ этого можно кого угодно рѣзать и стрѣлять, зная, что за это ничего не будетъ...

— А вы думаете, строгія наказанія устраняютъ преступленія и исправляютъ нравы? — насмѣшливо и не безъ ехидства спросилъ его молоденькій господинъ съ клинообразной

жиденъкой бородкой и худосочнымъ блѣднымъ лицомъ, усиленно изображавшимъ мефистофельскую усмѣшку. — Бывали случаи, что во время казни вора другіе воры опустошали карманы глазѣвшей на казнь публики, бывали случаи, когда во время сожиганія вѣдьмъ...

— Скажите, пожалуйста, вычитаетъ анекдотъ въ газетахъ и думаетъ, что онъ что-нибудь этимъ доказываетъ! — воскликнулъ толстякъ, не дослушавъ и перебивъ его. — Да если бы и такъ, то все-таки изъ этого не слѣдуетъ гладить по головкѣ и оставлять разгуливать на свободѣ всякихъ мерзавцевъ — убилъ, молъ, одного, можешь убить и другого...

— Условія жизни нужно измѣнять, соціальное положеніе людей слѣдуетъ улучшать! — началъ снова тощій молодой человѣкъ докторальнымъ тономъ, точно онъ собирался читать лекцію.

Земець усиленно замахалъ руками, точно отбиваясь отъ кого-то, и обратился къ остальнымъ слушателямъ.

— Понесъ книжную мудрость! Вчера въ



школь вызубрилъ! Соскочилъ съ университетской лавки и думаетъ, что онъ самъ профессоръ! Нѣтъ-съ, эти оправдательные вердикты показываютъ гнилость нашихъ нравственныхъ взглядовъ, отсутствіе въ насъ стремленія къ правдѣ, равнодушное отношеніе ко всякой подлости и мерзости. Мы и въ обществѣ готовы жать руку первому попавшемуся подлецу, и на судѣ готовы оставить безнаказанными его злодѣянія...

— Вся бѣда въ томъ, что младенцамъ нельзя давать въ руки права вязать и рѣшать, — вмѣшался въ споръ какой-то солидный господинъ лѣтъ шестидесяти съ желчнымъ видомъ и съ угрюмымъ взглядомъ. — Общество еще не созрѣло, чтобы брать на себя роль судьи, и новые суды у насъ просто преждевременны. Мы прежде должны дорасти до роли судей...

— Не бросившись въ воду, научиться плавать! — насмѣшливо вставилъ юный Мефистофель.

— Ну да, лучше ужъ прямо съ головой броситься въ воду, чтобы и самимъ утонуть, и другихъ утопить, — вставилъ толстякъ.

— Мы умѣемъ только все ломать, вотъ въ чемъ наше величайшее несчастіе, — серьезно произнесъ угрюмый господинъ. — Такъ и въ настоящемъ случаѣ, не зная, въ силахъ ли мы создать что-нибудь новое, мы сразу порѣшили съ старыми судами...

— Ну, старые-то суды были еще похуже, — лѣниво и какъ бы мимоходомъ замѣтилъ хозяинъ.

Это былъ плотный бѣлокурый здоровякъ, лѣтъ тридцати съ небольшимъ, съ крупной головой, напоминавшей своими густыми волосами голову льва, съ ясными изсиня-голубыми пазами, съ добродушнымъ и нѣсколько лѣнивымъ выраженіемъ лица, обросшаго вьющейся, мягкой бородой. Напомнивъ гостямъ о зеленыхъ столахъ, для прекращенія надоѣвшаго своею бесплодностью спора, онъ медленно поднялся съ мѣста и подошелъ къ своей молоденькой родственницѣ, задумчиво сидѣвшей на ступеняхъ террасы и смотрѣвшей какъ-то безцѣльно передъ собою не то на куртину съ цвѣтами, не то дальше, въ темнѣвшуюся передъ нею глубину густого сада. Высокая, стройная брюнетка съ тонки-

ми чертами продолговатаго лица, одѣтая вся въ черное, она казалась бѣлою, какъ самый чистый мраморъ; только всмотрѣвшись попристальнѣе въ это матовое, блѣдное лицо, можно было замѣтить легкій румянецъ, уже начинавшій съ нѣкоторыхъ поръ играть на ея щекахъ.

— А ты, Оля, какіе бы вердикты выносила обвиняемымъ, если бы ты была въ числѣ присяжныхъ засѣдателей? — съ ласковой шутливостью спросилъ онъ ее, дотрогиваясь до ея плеча.

Она вздрогнула, очнулась, подняла на него мягкіе темно-сѣрые глаза, но, кажется, не сообразила сразу, о чемъ онъ ее спрашиваетъ. Онъ тѣмъ же тономъ шутки повторилъ свой вопросъ. Она опять вздрогнула и слегка нахмурила тонкія брови.

— Зачѣмъ ты спрашиваешь?.. Я никогда никого не стала бы судить, — отвѣтила она тихо.

— Ну, а если бы пришлось, обязали бы? — продолжалъ онъ шутить, повидимому, не замѣтивъ выраженія ея лица. — Вотъ вы всѣ, юницы, о правахъ женщины толкуете. Ну,

вотъ и дали бы вамъ право судить...

Она опять подняла на него глаза, но уже съ кроткимъ упрекомъ.

— Развѣ я толкую о какихъ-нибудь правахъ?

— Но все же, — возразилъ онъ и, почти съ недоумѣніемъ глядя на нее, уже замѣчая ея волненіе, прибавилъ:— ты же не изъ отсталыхъ, кажется, не стоишь за безправіе женщины... Ну, и представь, что тебѣ пришлось бы судить...

— Никого и никогда я не стала бы судить, — еще тверже повторила она и прибавила дрогнувшимъ голосомъ, указывая глазами на гостей:— И зачѣмъ они толкуютъ объ этомъ? Счастливые, сытые, самодовольные... толкуютъ, нужно ли сослать, засадить въ тюрьму кого-то... можетъ-быть, несчастную, изстра...

У нея захватило голосъ, на глазахъ сверкнули крупныя слезы.

— Пережили бы все, перестрадали бы...

Она, дрожащая, точно вдругъ охваченная холодомъ, поднялась съ мѣста и, не глядя ни на кого изъ насъ, пошла безцѣльно впередъ.

— Голубка, что ты? — уже совсѣмъ встревоженно, мягко сказать Обручевъ, пробуя ее остановить.

— Я... я... пройдуся, — отвѣтила она, не поворачивая головы и глотая слезы.

Не то встревоженно, не то сконфуженно хозяинъ воротился къ столу на свое мѣсто, сбоку, у самовара, за которымъ, стоя, хлопотала Марья Ивановна. Это была старушка невысокаго роста съ полнымъ розовымъ лицомъ, съ свѣтлоголубыми, нѣсколько выцвѣтшими добрыми глазами, въ бѣлоснѣжномъ тюлевомъ чепцѣ, съ широкою бѣлою рюшью, изъподъ которой виднѣлись бѣлые, какъ снѣгъ, гладко причесанные волосы. Старушка укоризненно покачала головой подсѣвшему къ ней баловню-племяннику.

— Опять, вѣрно, за больное мѣсто задѣлъ, — прошептала она съ упрекомъ. — Ужъ ты вѣчно такъ!

Онъ, оправдываясь, передалъ ей свой разговоръ съ молодой дѣвушкой.

— Ну, да, такъ и есть, такъ и есть! Нашель кого въ судьи звать, нашель кого въ этотъ вопросъ впутывать! Привыкли вы въ Петер-

бургъ у себя изъ пустого въ порожнее переливать, языки чесать...

Она обратилась ко мнѣ и такъ же тихо, видимо, не желая, чтобы ее слышали другіе, сказала мнѣ:

— И полугода не прошло съ тѣхъ поръ, какъ всѣ люди обвинили, опозорили, забросали грязью человѣка, а она не только вынесла ему оправдательный приговоръ, а отдала ему и сердце, и душу, всю жизнь свою чуть не разбила... А онъ, нашъ-то тюфякъ, нашъ-то Михаилъ Петровичъ, съ шуточками по этому вопросу къ ней подѣзжаетъ... Нечего сказать, хорошъ!

Она махнула рукой въ сторону племянника.

— Мухи не обидить, а насчетъ чуткости, тонкости чутья — вотъ ни столечко ничего у него и въ заводѣ нѣтъ! — пояснила она.

Михаилъ Петровичъ уловилъ слова тетки и добродушно засмѣялся:

— Тетя меня совсѣмъ за деревяжку считать...

— Не за деревяжку, а за медвѣдя, воображающаго, что и онъ способенъ шутить и

нѣжничать, — отвѣтила старушка. — Вотъ ужь не даромъ Мишкой окрестили...

Ея за минуту до этого привѣтливо улыбавшееся лицо приняло озабоченное выраженіе:

— Ты поди къ ней, разговори ее, — сказала она Обручеву.

— Да вы же сами медвѣдемъ меня называете, какъ же я могу, — отвѣтилъ онъ.

— Ахъ, иди ужъ, — нетерпѣливо сказала старушка. — Самъ знаешь, что ты одинъ и смутить можешь, ты одинъ и разговорить умѣешь...

Онъ поднялся и пошелъ съ террасы въ садъ.

— Добротой своей все поправить, — пояснила мнѣ старушка:— неловкостью набѣдокурить, а добротой поправить...

Ея старческіе глаза на минуту съ глубокой, теплой лаской остановились на статной, красивой, вполнѣ мужественной фигурѣ лѣниво удалявшагося изъ насъ по аллеѣ Михаила Петровича.

\* \* \*

Бываютъ минуты, когда человѣкъ ощуща-

еть непреодолимую потребность высказаться передъ кѣмъ-нибудь, раскрыть свою душу. Въ такія минуты легче пережить въ разсказѣ, выплакать давящее грудь горе, чѣмъ молча хранить его въ глубинѣ души. Я какъ-то чу-тьемъ угадалъ, что моя милая старушка переживала именно такую минуту. Прежде я уклонялся отъ всѣхъ разспросовъ о постигшемъ семью несчастьи, теперь мнѣ казалось, что я не только могу, но долженъ спросить объ этомъ, и я задалъ вопросъ, котораго, казалось, только и ждала Марья Ивановна. Она встрепенулась, осмотрѣлась кругомъ: всѣ гости уже усѣлись въ залъ за карточные столы и мы были одни; это, повидимому, успокоило старушку, не думавшую отвѣчать отказомъ на мой вопросъ и въ то же время не желавшую посвящать въ семейныя тайны «чужихъ»; меня она уже давно привыкла считать за «своего» и даже говорила мнѣ «ты». Она, прикрывъ чайникъ салфеткой, начала разсказъ...

— Ты Владиміра-то Степановича нашего вѣдь знавалъ? — спросила она меня.

— Обручева? Вашего двоюроднаго бра-



та? — спросилъ я въ свою очередь.

Она утвердительно кивнула головой.

— Нѣтъ... Слышалъ о немъ мелькомъ... Но знакомъ съ нимъ лично не былъ...

Я лгалъ. Я хорошо зналъ и по слухамъ, и по нѣсколькимъ встрѣчамъ этого человѣка, занимавшаго видное положеніе въ обществѣ по своему богатству, по своимъ связямъ и въ то же время слышшаго отъявленнымъ скрягой, негласнымъ ростовщикомъ, жестокимъ, безсердечнымъ человѣкомъ. Его надменная и отталкивающая, длинная и сухая фигура съ маленькой головой, съ землисто-желтымъ лицомъ, съ густыми бровями, съ острымъ взглядомъ коршуна, навсегда запечатлѣлась въ моей памяти. Онъ такъ ясно и живо припомнился мнѣ теперь, какъ будто онъ стоитъ передо мною. Тѣмъ не менѣе, мнѣ не хотѣлось сознаться, что я зналъ его, — зналъ только съ дурной стороны, почти за негодяя.

— И не мудрено, кто и зналъ его, тотъ старался не знать, — замѣтила она со вздохомъ. — Вотъ ужъ если бы подъ судъ попалъ даже безъ вины, такъ и тогда бы въ Сибирь упекли. Ненависть-то въ людяхъ къ нему та-

къ сильна была, что въ чемъ бы его ни обвинили — всему бы люди повѣрили. А тоже несчастный человекъ былъ, всякаго состраданія достойный...

Я невольно сдѣлалъ гримасу.

— Да, да, нечего кислое лицо-то дѣлать, — горячо сказала старушка, вступаясь за своего родственника. — Вы, новые, молодежь, все съ налету судите, умою, а сердцемъ... Гдѣ оно у васъ, и не сыщешь! Право!

Она безнадежно махнула рукой.

— Осуждать-то Владиміра Степановича было не трудно, — продолжала она:— на виду у всѣхъ все дурное-то въ немъ было. Да онъ и не старался этого дурного скрывать, потому что онъ и людей-то иначе не называлъ, какъ людишками. Не только ненавидѣлъ, а еще и презиралъ ихъ. Иногда, казалось, просто щеголялъ передъ ними всѣмъ, что въ немъ было гадкаго, точно говоря: «видите, каковъ я, а все-таки лизать мнѣ руки станете, если я только позволю»... А вотъ то, какъ онъ до этого дошелъ, это не легко было узнать, да, по правдѣ сказать, этимъ никто не интересовался. Скажутъ, бывало: «негодяй», «міроѣдъ»,

«алтынникъ», «ростовщикъ», а почему? какъ сдѣлался такимъ? — кому какое дѣло до этого!.. Я его жизнь знала. Родными приходились. Съ дѣтства помню, какъ ему жилось. Можетъ-быть, если бы добрымъ-то, хорошимъ-то людямъ пришлось то вынести, что онъ вынесъ, такъ многіе изъ нихъ еще и хуже его стали бы... Дрянности-то во всѣхъ много!.. Росъ онъ сиротой: отца его за что-то сослали, да такъ онъ и пропаль безъ вѣсти, мать жила долго, да не на радость дѣтямъ, пила такъ, что въ кабакъ и умерла; старшій братъ его на ноги поднялъ; немного и старше былъ, а поднялъ. Господи, чего они оба не натерпѣлись! Не тому удивляться-то нужно, какими выросли, а тому, какъ выжили, какъ въ живыхъ остались. И никто, никто не помогъ. И то сказать, не родовитые люди были, собой оба некрасивые, гнуть спины не умѣли, подлаживаться тоже, ну, и приходилось радоваться, что ихъ еще не каждый день бьютъ да ругаютъ, что находятся и такіе люди, которые рукъ о нихъ марать не хотятъ. Старшій братъ, покойный Николай Степановичъ, былъ безпечный добрякъ, умный, ученый, его такъ и звали «бла-

годушнымъ философомъ». Съ нимъ, бывало, какую бы пакость люди ни сдѣлали, онъ только пукой махнетъ да скажетъ: «а ну ихъ!» Владиміръ Степановичъ былъ не таковъ: онъ рано сдѣлался угрюмымъ, желчнымъ, раздражительнымъ. Оно и понятно: старшій братъ хоть въ дѣтствѣ зналъ ласки отца и матери да кое-какое довольство, а младшій видѣлъ только чужихъ, равнодушныхъ, враждебныхъ людей кругомъ себя да замѣчалъ, какъ затягивался въ непосильномъ трудѣ его братъ, таявшій, какъ воскъ, въ злѣйшей чахоткѣ. Когда Николай Степановичъ умеръ, Владиміръ Степановичъ совсѣмъ звѣремъ сталъ, озлобился на весь міръ. По уму-то онъ былъ не совсѣмъ далекъ и никакъ не могъ онъ помириться съ тѣмъ, что нерѣдко честные, добрые и умные съ голоду умираютъ. Сталъ онъ говорить, что послѣ этого не стоитъ быть ни честнымъ, на умнымъ, ни добрымъ. «Ну, вотъ братъ святымъ человѣкомъ былъ, — говоритъ онъ, бывало, — а кто помогъ ему, кто поддержалъ? Только загонять старались его, благо онъ трудолюбивъ былъ, только обмануть старались, благо онъ довѣрчивъ былъ.

Льнивый только не помыкаль, имъ, не обманываль его, не обираль его. А пришлось ему плохо, никто не думаль спасти». Одно время думали мы, что онъ руки на себя наложить съ горя. Но не такой онъ человекъ быть. Какъ сейчасъ помню, какъ онъ, тогда еще совсѣмъ юноша, мнѣ разъ сказалъ про самоубійство: «Тоже радость: при жизни надъ тобой враги наругаются и послѣ смерти еще глумиться будутъ, что ты не одолѣль ихъ, да самъ съ собою, какъ съ бѣшеной собакой, прикончилъ. Нѣтъ, ужъ если приходится бороться съ врагами, такъ нужно не самому приканчивать съ собою, а ихъ доводить до самоубійства да надругаться надъ ними, даже надъ мертвыми».

Она вздохнула тяжелымъ вздохомъ.

— И доводилъ! — проговорила она коротко. — Ожесточенный человекъ былъ... Про войну вотъ когда читаешь, такъ видишь, до чего люди дойти могутъ: ни сѣдины, ни юности не щадятъ, дѣтей и женщинъ рѣжутъ, и вооруженнаго, и безоружнаго бьютъ, ничего не помня, кромѣ того, что они на войнѣ, что они бить и рѣзать должны. Ну, вотъ и онъ та-

кимъ былъ всю жизнь, одинъ вышелъ воевать со всѣми и тѣмъ безпощаднѣе былъ, чѣмъ яснѣе понималъ, что онъ одинъ. А ужъ что онъ одинъ былъ — это вѣрно. Онъ вѣдь не только самъ не любилъ людей, но и зналъ, что и его люди не любятъ, а чѣмъ дальше, тѣмъ болѣе сознавалъ онъ это. Правда, когда онъ нажился, когда онъ въ люди вышелъ всѣми правдами и неправдами, къ нему стали являться съ поклонами низкія души, но его уже трудно было обмануть. Бывало, слушаетъ онъ любезности, смотритъ, какъ передъ нимъ пресмыкаются, а потомъ и скажетъ съ усмѣшкой по уходѣ ихъ: «Живымъ съѣсть готовы бы, да зубовъ нѣтъ». Хорошо онъ зналъ, что ни пощады, ни помилованія ему не будетъ, если онъ въ чемъ-нибудь попадетъ. Ему-то ужъ оправдательнаго приговора никто бы не вынесъ, хоть бы всѣ знали, что его безвиннаго судятъ.

Я усмѣхнулся.

— Только вы, добрая душа, и вынесли бы ему такой приговоръ? — замѣтилъ я.

Старушка оживилась.

— Да, вынесла бы, вынесла бы, потому что

несчастіе-то его было выше его преступности. Умомъ, голубчикъ, можетъ-быть, такого человѣка и не оправдаешь, а сердцемъ — сердцемъ оправдаешь, особенно, когда и самому жилось не сладко, когда зналъ человѣкъ, какъ озлобиться отъ неправдъ людскихъ можно...

Кто-то изъ гостей на-время прервалъ нашу бесѣду, попросивъ у старушки еще чаю. Она захлопотала, схватилась за чайникъ, пощупала самоваръ, все остыло. Пришлось позвать прислугу, чтобы снова подогрѣть самоваръ. Разговоръ на нѣсколько минутъ былъ прерванъ...

Прошло не болѣе десяти минутъ, какъ хозяйственныя хлопоты были окончены, гостямъ снова былъ поданъ чай, и Марья Ивановна стала продолжать прерванный разговоръ.

— Ты знаешь, Владиміръ Степановичъ былъ женатъ. Не веселое это было супружество. Женился онъ по расчету, не жену искалъ, а связей и богатства; жена ему попалась пустая, свѣтская барыня. Всю жизнь прожила она въ домѣ, какъ чужая, заботясь о нарядахъ, о визитахъ, о спектакляхъ. Говорятъ даже, что и

простой честности въ ней не было. По крайней мѣрѣ, самъ Владиміръ Степановичъ былъ до конца жизни убѣжденъ, что ихъ сынъ не былъ его сыномъ. Ну, да это одному Богу извѣстно...

Старушка круто оборвала рѣчь и обратилась ко мнѣ съ вопросомъ:

— Сына-то Владиміра Степановича, Николашу-то нашего, ты видалъ вѣдь?

— Да, да, какъ же, помню, видалъ...

— Ну, такъ самъ знаешь, мальчикъ онъ былъ слабенькій, скорѣй на дѣвочку походилъ, чѣмъ на мальчика. Ничего-то въ немъ отцовскаго не было. За это, можетъ-быть, отецъ-то и не любилъ его, — хуже даже: ненавидѣлъ. Ну, а мать — ей не сынъ нуженъ, а тряпки на выѣзды, гости да балы. Росъ мальчикъ одиноко, запуганнымъ, лишеннымъ ласки. Потомъ пристроили его на полный пансіонъ въ Правовѣдѣніе, потому, какъ же иначе — важные тоже господа! — и никто не справлялся, какъ онъ развивается, какъ живетъ, какъ ведетъ себя. Мальчикъ же былъ мягкій, слабохарактерный, податливый, изъ тѣхъ людей, которымъ нужна вѣчно нянька,



— Да, онъ производилъ именно такое впечатлѣніе, когда я его встрѣчалъ, — замѣтилъ я, припоминая Николая Обручева.

И передо мной воскресъ образъ юноши: высокаго, стройнаго, розовенькаго, съ большими голубыми глазами, смотрѣвшими подѣтски на всѣхъ и на все. Онъ всегда казался прекраснымъ, но хрупкимъ, какъ тѣ фарфоровые цвѣты, которыми украшаются этажерки дамскихъ будуаровъ. Судьба, казалось, и предназначила его играть именно такую роль украшенія дамскаго будуара, великосвѣтской гостиной. У него былъ мягкій баритонъ, онъ пѣлъ не безъ шика, онъ недурно игралъ на фортепьяно, онъ ловко рисовалъ карикатуры. Но ни одна изъ его художественныхъ способностей не была серьезно разработана, всѣ онъ развились только до той степени, чтобы служить забавой, развлеченіемъ, украшеніемъ салонныхъ досуговъ. Его можно бы было назвать «милымъ малымъ», «душой общества», если бы рядомъ съ этими способностями развлекать и потѣшать общество у него не было еще одного качества — вѣчнаго недовольства самимъ

собою, окружающей жизнью, обстоятельствами. Это недовольство доходило у него до крайнихъ предѣловъ, дѣлало его раздражительнымъ, какъ нервную женщину, хотя онъ пальца о палецъ былъ не въ состояніи стукнуть, чтобы измѣнить хоть что-нибудь въ себѣ самомъ и въ своемъ положеніи. Онъ могъ только плакать, сѣтовать, жаловаться и въ то же время раздражаться на самого себя за эти слезы, сѣтованія и жалобы. Я никогда не былъ съ нимъ близокъ, но даже мнѣ онъ иногда жаловался на свое положеніе, такъ велико было его слабодушіе, такъ велика была въ его натурѣ склонность къ экспансивности, къ беззавѣтной откровенности, имѣвшей почти всегда характеръ жалобы, сѣтованія, недовольства собою и обстоятельствами. Я встрѣчался съ нимъ въ то время, когда онъ уже сильно покучивалъ, жалуясь при этомъ на скуку и пустоту жизни, на свою безхарактерность, на ложность своего положенія.

— Я правовѣдъ, а дома желаютъ, чтобы я велъ жизнь схимника, — говорилъ онъ подѣтски раздражительно. — Отецъ богачъ, а сынъ чуть не милостыню долженъ просить...

Я ему что-то замѣтилъ относительно безобразнаго поведенія золотой молодежи вообще. Онъ раздражительно отвѣтилъ мнѣ:

— Ахъ, что вы говорите! Мнѣ не на эту жизнь недостаетъ денегъ, мнѣ даже не на папиросы онѣ нужны, мнѣ иногда нуженъ рубль, чтобы не ходить оборванцемъ...

И онъ былъ отчасти правъ: отецъ готовъ былъ водить его въ лохмотьяхъ, лишь бы не тратить на него денегъ. Его мать уже давно умерла.

Когда я ему замѣтилъ, что все-таки онъ, кажется, покучиваетъ, онъ воскликнулъ:

— Да, да! Но что же прикажете дѣлать, если я въ это втянулся? Вы думаете, я не сознаю всей пошлости этой жизни? О, это постыдная жизнь, это сплошная оргія. Но втягиваетъ это, какъ болото. Разъ попавъ въ этотъ омутъ, уже не выберешься изъ него. Утромъ даешь себѣ слово остепениться, отрезвиться, а вечеромъ — иногда не знаешь вечеромъ, когда и какъ уснулъ!

Онъ передернулъ плечами.

— А впрочемъ, всѣ такъ живутъ, у кого есть средства! Живутъ только для того, чтобы

прожигать жизнь...

— Тѣ, можетъ-быть, не сознають мерзости этой жизни, а вы...

Онъ перебилъ меня.

— Да, да, я сознаю и это-то сознание и мучить меня, оно то и отравляетъ мнѣ жизнь. Во мнѣ вѣчно точно два человѣка борются, и эта борьба... Плохо я кончу, если не пристану къ какому-нибудь одному берегу...

Онъ презрительно усмѣхнулся.

— Иногда я становлюсь гадокъ самому себѣ.

По его тону, по выраженію его лица сразу можно было понять, что онъ не напускаетъ на себя ничего, что не рисуется своей двойственностью, что, напротивъ того, именно эта двойственность терзаетъ и мучить его. Иногда онъ почти съ ужасомъ говорилъ о силѣ привычки.

— Вы задумывались ли когда-нибудь объ этомъ? — говорилъ онъ. — Это вѣдь что-то роковое. Какъ листья дерева, какъ вы его ни поставьте, будутъ оборачиваться въ сторону солнца, такъ человѣкъ, привыкшій къ чему-нибудь, что вы ни дѣлайте, будетъ возвра-

цаться къ своей привычкѣ...

— А сила воли? — замѣтилъ я.

Онъ горько усмѣхнулся.

— Нѣтъ, вы, значить, вовсе не знаете, что значить привычка, если толкуете о силѣ воли... Впрочемъ, я, можетъ-быть, самъ такая безхарактерная личность, что не могу этого понять...

И онъ оборвалъ нашъ разговоръ.

Все это живо вспомнилось мнѣ теперь, когда Марья Ивановна спросила меня, помню ли я его.

— Ну, — продолжала она:— такого человѣка могъ забрать въ руки первый встрѣчный. Его стоило только приласкать. Только въ томъ-то и горе, что хорошіе люди рѣдки, а дурныхъ непочатый уголь. Къ этимъ-то людямъ въ руки и попалъ Николаша. Еще бы! помнишь, ловкій, изящный, красивый мальчикъ онъ былъ и, вдобавокъ, въ будущемъ крупный богачъ. Такихъ всегда сумѣютъ приголубить разные проходимцы. Товарищи, кутилы разные, дурныя женщины, всѣ эти люди завладѣли имъ и наговорили ему, какъ ложно его положеніе, какъ дурень его отецъ, ка-

къ могъ бы онъ жить при своемъ богатствѣ. Тутъ же подвернулись и услужливые губители нашей молодежи — ростовщики, готовые всегда ссужать сыновей богатыхъ отцовъ деньгами... Началась старая исторія кутежей на деньги, занятыя за огромные проценты, семейныхъ сценъ сына съ отцомъ, цѣлаго ряда интригъ со стороны разной родни Владиміра Степановича, желавшей одного, чтобы старикъ лишилъ сына наслѣдства и завѣщалъ бы кое-что ей. Старикъ и всегда былъ человѣкомъ ограниченнымъ, а подъ старость, дряхлѣя, и совсѣмъ началъ выживать изъ ума, даже характеръ у него сдѣлался уже не такимъ желѣзнымъ, какъ прежде, и сталъ поддаваться вліянію лести и угодливости. Правда, угодникамъ не легко было ладить со старикомъ, ломался онъ надъ ними, самодурствовалъ, но ради денегъ чего не вынесутъ люди! У старика явилась вдругъ, цѣлая стая родныхъ, стремившихся съ бою урвать что-нибудь изъ его капиталовъ. Просто омерзительно было смотрѣть на эту пошлую комедію ухаживаній за старымъ самодуромъ. И каждый-то изъ этихъ низкихъ людей твер-

диль старику, что его сынъ негодяй, что онъ гнушается отцомъ, что онъ говоритъ со смѣхомъ о близости смерти отца, что онъ, въ сущности и не сынъ ему. Къ несчастію, какіе бы ни были недостатки у Николаши, одного у него не было — не умѣлъ онъ лгать и притворяться, не умѣлъ онъ льстить тѣмъ, кого не любилъ. Бороться съ роднею ему было не подъ силу, и онъ просто брезгливо махнулъ на нее рукою, продолжая прежнюю жизнь, все болѣе и болѣе приобретающую репутацію негодяя...

Старушка вздохнула.

— Спросили бы люди Олю, какъ каялся, какъ плакалъ этотъ негодяй въ тяжелыя минуты...

— Онъ былъ въ хорошихъ отношеніяхъ съ Ольгой Александровной? — спросилъ я.

Послышался опять тяжелый вздохъ.

— Если бы у него была любящая мать, она вѣрно любила бы его не болѣе Оли, — отвѣтила старушка. — Ну, да и онъ платилъ ей тѣмъ же. Вся душа его была на ладони передъ нею. Она и утѣшала, и журила, и оставливалила его. Ты Олю хорошо знаешь. Это

сильный, почти мужской по твердости характер и въ то же время сердце любящей женщины, сестры, матери. Ей все равно, что за человекъ передъ нею, если она видитъ, что онъ страдаетъ, — ни о чемъ не думая, все забывая, она бросится ему на помощь. Съ дѣтства она уже такая: бывало, дѣвчонкой маленькой всякихъ облѣзлыхъ щенковъ и котятъ въ домъ тащила, чтобы напоить и накормить ихъ; первой радостью у нея было — отдать свои собственные лакомства босоногимъ, полуголымъ крестьянскимъ ребятишкамъ...

Старушка усмѣхнулась.

— Ты знаешь, какъ она въ дѣтствѣ играла? «Въ маму», какъ она говорила. Возьметъ куклу, собачонку или котенка и говорить: «вы дѣти, а я мама». Такъ мы и говорили, глядя на нее, что она «въ маму» играетъ...

— Это она отъ васъ переняла? — съ улыбкой замѣтилъ я.

— Ну, выдумалъ! — сказала старушка, махнувъ рукою. — Нѣтъ, это у нея ужъ, вѣрно, отъ природы. Да у меня и характера такого нѣтъ. У нея и серьезность, и выдержка, и на-



стойчивость. Я просто слабая женщина: меня бы не обижали, ну, и я не обижу никого. Я вот и раздражаюсь иногда, прикрикну на кого-нибудь, разворчусь на цѣлый часъ, обижу иногда несправедливо человѣка...

— Ну, да, ну, да, цѣлый рядъ злодѣйствъ произведете, — перебилъ я ее:— и потомъ сами же ухаживаете за жертвой злодѣйствъ, ублажая ее подарками...

Марья Ивановна даже не улыбнулась на мою шутку и серьезно замѣтила:

— А это ты вѣрно подмѣтилъ въ моемъ характерѣ. Я на это способна. У насъ вотъ собачонка тоже такая была: вдругъ облаетъ своего человѣка, потомъ сконфузится, подождетъ хвостъ и ужъ до тѣхъ поръ не успокоится, пока не вылизетъ руки неузнанному ею человѣку.

Я разсмѣялся. Старушка, не обращая вниманія на мой смѣхъ, продолжала:

— Оля не то. Оля «своего» сразу узнаетъ, а «свой» ей всякій, кому помощь нужна. Да, рѣдкая дѣвушка... Она няньчилась съ Николашей, какъ съ ребенкомъ. Да онъ и былъ ребенкомъ, хотя годами и былъ старше ея на

два, на три года. Ужь пробовали родные и журить ее за него, и говорить, что она ведетъ себя неприлично, няньчась съ нимъ. Нашлись даже такіе, у которыхъ языкъ поворотился сказать, что она хочетъ женить его на себѣ, чтобы сдѣлаться богатой.

Латкина набожно перекрестилась, точно отрещиваясь отъ дьявольскаго искушенія.

— Не она, а онъ самъ желалъ сблизиться съ нею навсегда, — продолжала она. — И если этого не сдѣлалось, то не по его нежеланію. Онъ еще на школьной скамьѣ мечтать о женитьбѣ на Оль, но обстоятельства не позволяли. Никому не говорилъ Николаша, что ему мѣшаетъ жениться, говорилъ только, что нужно подождать, что есть одно препятствіе. И такъ это тревожило его, что онъ покоя не находилъ. Бывало придетъ къ мнѣ, подсядетъ и говоритъ: «Тяжело мнѣ, бабушка». Знаешь, меня вѣдь бабушкой зовутъ, кто хоть на десять лѣтъ моложе меня. «Да что у тебя за горе? — спрашиваю. — Закутилъ вѣрно?» «Что, говорить, кутежъ! Я теперь радъ бы такъ закутиться, чтобы все, все забыть». — «Да что забыть-то?» говорю ему. — «А то, что негодяй

я — вотъ и все, говорить. И изъ-за чего Оля сомной няньчится? Себя только губить. Не исправлять меня надо бы, а пристрѣлить, какъ паршивую собаку». Даже разсердить, бывало, меня. — «Уйди, говорю, и никогда мнѣ такихъ словъ не говори. Богу бы лучше помолился, зарокъ бы далъ остепениться». А онъ только рукой махнетъ... И жаль мнѣ его было, и досадно на него, и страшно за Олю.

— А Ольга Александровна знала, что его такъ тревожило? — спросилъ я.

— Въ томъ-то и бѣда, что и она не знала. Разказать, что его мучило, онъ даже ей не рѣшался, духу не хватало. У него, видишь ли, былъ выданъ фальшивый вексель... на большую сумму...

Старушка въ волненіи смолкла и засуетилась.

— Ахъ, заболталась я съ тобой. Надо велѣть самоваръ и посуду прибрать... И гдѣ это Миша съ Олей запропали? Тоже гости одни безъ хозяевъ.

— Ну, они такъ углубились въ винтъ, что имъ насъ и не нужно, — сказалъ я.

— Да, да, ишь спорятъ и горячатся какъ,

пожалуй, еще азартнѣе, чѣмъ давеча объ оправдательныхъ приговорахъ.

— Еще бы! Винтъ-то поближе къ сердцу...

Она покачала головой.

— Ахъ, люди, люди!

Марья Ивановна пошла распорядиться, чтобы прислуга убрала все со стола. Я закурилъ папиросу и прошелся по террасѣ, весь еще охваченный впечатлѣніемъ, навѣяннымъ разговоромъ хозяйки. Передо мною, какъ живые, вставали образы знакомыхъ мнѣ лицъ и сцена за сценой проходили всѣ перипетіи будничной драмы. Наконецъ, Латкина вернулась снова на террасу, присѣла на диванчикъ и, принявшись за вязанье, уже нѣсколько успокоившись отъ охватившаго ее волненія, заговорила снова:

— Тяжелое время настало для нашего бѣднаго Николаши да не легче пришлось и Ольѣ. Сначала Николаша попробовалъ уговорить ростовщика переписать этотъ вексель, предлагая удвоить сумму. Но не такой человекъ былъ этотъ ростовщикъ, чтобы выпустить изъ своихъ рукъ жертву. По настоящему векселю, выданному на годъ, онъ могъ

еще и не получить, по поддѣльному же онъ надѣялся непременно выручить свои деньги, рассчитывая, что отецъ Николаши не захочетъ загубить сына... Плохо онъ только зналъ Владиміра Степановича и, конечно, еще менѣе зналъ, какъ интригуютъ противъ мальчика родные и какъ смотритъ на сына отецъ. Наканунъ срока векселя, Николаша, какъ онъ самъ говорилъ потомъ, готовъ былъ пустить себѣ дулю въ лобъ, но его спасла любовь къ Олѣ. «Все, — говорилъ онъ, — я готовъ былъ перенести тогда, лишь бы не потерять ее». И перенесъ, много перенесъ... Онъ пошелъ къ отцу и рассказалъ ему все.

Старушка перевела духъ.

— Что же отецъ? заплатилъ? — спросилъ я.

Она безнадежно махнула рукой.

— На другой же день вексель былъ протестованъ, поддѣлка обнаружена и Николашу арестовали... И хуже всего было то, что Владиміръ Степановичъ, да проститъ ему Богъ этотъ величайшій грѣхъ, рѣшилъ бросить въ лицо сыну послѣднее оскорбленіе. Онъ ему сказалъ, что Николаша никогда и не былъ его

СЫНОМЪ...

Лицо Марьи Ивановны приняло такое выраженіе, какъ будто она снова переживала всѣ фазисы этой семейной драмы, какъ будто она снова изнывала и страдала за этихъ несчастныхъ «дѣтей». Немного успокоившись, она продолжала:

— Это было прошлой весной. У Миши послѣдніе уроки кончались, Оля экзамены сдала, мы уже собрались сюда, въ деревню, сняли занавѣси и портьеры на городской квартирѣ, чехлы на мебель надѣли, все уложили... Какъ сейчасъ помню утро на другой день ареста Николаши. Съла я это за чайный столъ съ Мишей; я чулокъ вяжу, онъ газету читаетъ; день такой ясный, теплый, обоимъ намъ вспомнилась деревня, потянуло насъ сюда; оставили мы оба свое дѣло, заговорили о лѣтѣ... Вдругъ вошла Оля, блѣдная, серьезная. Мы взглянули на нее да такъ и онѣмѣли.

— Колю за подлогъ векселя арестовали, — сказала она коротко, отрывисто, точно стискивая зубы отъ боли.

Я и руками всплеснула. Господи Боже мой, бѣда какая! Миша сквозь зубы проворчалъ:

— Докутился!

Она, не обращая на насъ вниманія, не глядя на насъ, сѣла къ столу и прибавила:

— Я здѣсь останусь!

Я сразу не поняла, гдѣ она останется. За столомъ съ нами, думаю. Съ чего же это она говорить? Потомъ сообразила и испугалась.

— Какъ же, говорю, маточка? Развѣ можно? Одной-то? Вѣдь у насъ и вещи уже уложены...

Тутъ поднялся съ мѣста Миша и заходилъ по комнатѣ.

— Она права, нельзя ей ѣхать, — коротко сказалъ онъ.

Онъ подошелъ къ Ольѣ и погладилъ ее по головѣ, точно отецъ ребенка.

— Бѣдная дѣвочка, — проговорилъ онъ ласково.

Она только еще ниже голову наклонила. А я это успокоиться не могу, сообразить ничего не въ силахъ. Не понимаю, что это они говорятъ.

— Какъ же, говорю, ты жить-то здѣсь будешь? Что люди-то скажутъ?

— Ахъ, полноте, — нетерпѣливо сказалъ

мнѣ Миша. — Не одна она будетъ. Я тоже не поѣду...

Я и руками всплеснула.

Оля поднялась и быстро проговорила ему:

— Нѣтъ, нѣтъ, не надо!

Потомъ взглянула въ лицо Миши и про-  
бормотала:

— Добрый мой., ты на все для меня готовъ,  
а я...

У нея вдругъ перехватило голосъ, слезы такъ и хлынули изъ глазъ. Вижу, захлебывается она отъ рыданій. Миша подошелъ къ ней, приласкалъ ее, а она молча прижалась губами къ его рукѣ. Онъ даже покраснѣлъ, но руки не отнялъ, не шевельнулся, точно такъ и слѣдовало, чтобы она ему руки цѣловала... Тутъ-то только я и прозрѣла: давно мой Миша безъ ума любилъ ее, давно она поняла это и всѣми силами старалась избѣгать объясненій, избѣжать отказа; Миша тоже чутьемъ угадывалъ, какой отвѣтъ онъ получитъ, и зналъ, почему ему отвѣтятъ: «нѣтъ», а не «да». И такъ мнѣ горько, такъ обидно стало тогда-за моего Мишу, что даже согрѣшила я тогда, возроптала въ душѣ на Бога и впервые на



бѣднаго Николашу вознегодовала. «Гдѣ же, думаю, правда? Этотъ честный, добрый, хорошій, а страдать ему молча приходится, никто и вниманія на него не обращаетъ, а тотъ, погибшій онъ человѣкъ, никакія силы не спасутъ его, а съ нимъ няньчатся, ему себя въ жертву приносятъ...» Даже къ Оль, прости Ты меня, Господи, точно враждебность какая въ душѣ проявилась...

Латкина перекрестилась.

— Стала Оля посѣщать Николашу въ тюръмѣ, несмотря на всѣ его протесты, — рассказывала старуйка послѣ небольшого перерыва. — Онъ и каялся, и называлъ себя погибшимъ человѣкомъ, но она всѣми силами старалась поддержать въ немъ бодрость духа и рѣшительно объявила ему, что, что бы съ нимъ ни случилось, она будетъ его женою, послѣдуетъ всюду за нимъ. Много это придало ему бодрости, ну и отрезвѣлъ онъ въ тюръмѣ, другимъ человѣкомъ какъ будто сталъ. Мы всѣ ея рѣшенія знали, но ни я, ни Миша не смѣли ее отговаривать. И то сказать: я и любила, и жалѣла Николашу, знала, что, кромѣ Оли, никто ему не подастъ руки помо-

щи, что погибнетъ онъ, въ концѣ-концовъ, безъ поддержки, и хотя скорбѣла за Мишу, а все-жъ молчала; Миша же не могъ отговаривать Олю, потому что не довѣрила бы она ему, въ этомъ случаѣ не повѣрила бы, заподозривъ его въ томъ, что онъ не безъ расчета отговариваетъ ее. Да и не такой онъ человѣкъ, чтобъ сталъ отговаривать ради своихъ интересовъ. Честная и прямая душа, хоть и байбакъ, и медвѣдь неуклюжій... Между собою-то мы часто говорили, что не спасетъ она его, а только себя загубить, такъ какъ ужъ слишкомъ мало выдержки было въ мальчуганѣ, характера, силы воли не было у него... Измучилась и я за это время, всѣхъ троихъ жалѣя. Не знала о чемъ и молиться, что и просить у Бога. Бывало, стану молиться, стану на колѣни и только твержу: «Твори, Господи, волю Свою! Спаси ихъ всѣхъ». А гдѣ спасеніе — и придумать я не могла... Время же подходило къ окончанію процесса надъ Николашей. Почти наканунѣ умеръ скоропостижно Владиміръ Степановичъ, не успѣвъ сдѣлать духовнаго завѣщанія. Такимъ образомъ Николаша богачомъ сдѣлался и въ то же

время ждалъ ссылки. Насталъ и день суда. Пошли Оля съ Мишей въ судъ. Я не пошла. Тяжело ужъ очень мнѣ было слушать, какъ нашего мальчика публично шельмовать будутъ. Страшны ваши новые суды, ой, какъ страшны! Душу человѣческую передо всѣмъ обществомъ на изнанку выворачиваютъ, публично шельмуютъ человѣка, прежде чѣмъ осудятъ. И прокуроръ его треплетъ, и адвокатъ ему бока моетъ... Можетъ-быть, оно такъ и слѣдуетъ, такъ и надо, ну, а я этого понять ужъ не могу. Стара я, чтобы понимать это. Не пошла я туда. Не подъ силу было, тяжело. А дома не легче оставаться было. Хожу, какъ будто что потеряла и найти не могу, передвигаю все съ мѣста на мѣсто, на часы гляжу каждую минуту. Не выдержала! Пошла я къ Спасителю на Петербургскую сторону, отслужила молебень, наплакалась вволю и вернулась домой. Легче стало. Тутъ и мои изъ суда пріѣхали.

— Ну, что? — спрашиваю.

— Оправдали, — говоритъ Миша.

Гляжу я только на Олю, стоитъ она задумчивая, нерадостная, точно не того она ждала,

не того желала. Я стала креститься.

— Гдѣ же, говорю, Николаша?

— Поѣхалъ благодарить адвоката, товарищи сошлись поздравлять, — отвѣтилъ Миша, тоже хмурый, сдержанный.

Оля ни слова, точно замерла. «Что это съ ними, думаю. Или хотѣли, чтобъ мальчика въ Сибирь упекли?» Протянули мы кое-какъ день до вечера, точно послѣ похоронъ. Вечеромъ пріѣхалъ Николаша, возбужденный, радостный, цѣлуетъ руки у Оли.

— Вотъ и я! — говоритъ. — Видишь, не засидѣлся съ пріятелями. Теперь скорѣй устроить дѣла и свадьба, свадьба!

Оля улыбнулась, точно ожила, развеселилась.

— А я ужъ боялась, — начала она.

— Ну, вотъ еще! — перебилъ онъ. — Нѣтъ, довольно, урокъ хорошій данъ!.. Эти вещи не забываются, довольно одного того, что я ускорилъ смерть отца...

Онъ сдвинулъ брови.

— Бѣжать бы отъ самого себя хотѣлъ, — сказалъ онъ мрачно. — Мнѣ страшно войти въ нашъ домъ, какъ я все вспомню... И за что

онъ изъ-за меня, что я ему?..

Онъ стиснулъ зубы, вспомнивъ, должно-быть, послѣднее объясненіе съ отцомъ.

— Оставайся у насъ, — сказала я спроста.

— Нѣтъ, какъ же, — замѣтилъ онъ. — Это совсѣмъ неловко! Нѣтъ, ничего, надо все пережить, все выпить до дна. И такъ слишкомъ легко отдѣлался...

Говорить онъ это, а самъ, вижу я, волнуется, тревожится, посидѣть на мѣстѣ не можетъ, точно ни со своими думами, ни со своими желаніями справиться не можетъ. «Ну, и то сказать, — подумала я, — тяжелое время пережилъ, опомниться, въ себя придти еще не можетъ...»

Начались у него съ этого, дня хлопоты по утвержденію въ правахъ наслѣдства, по вводу во владѣніе имѣніемъ, возня съ бумагами, съ нотаріусами, съ адвокатами. Почти каждый день заглядывалъ онъ хоть на часокъ къ намъ, но всегда озабоченный, всегда суетливый. Олѣ все подарки привозилъ.

— Зачѣмъ ты тратишься! — говоритъ, бывало, она. — Развѣ это мнѣ нужно?

— Да я бы тебѣ всѣ брильянты скупилъ, —

скажетъ, бывало, онъ:- чтобы всю, всю тебя засыпать ими.

Она только пожметъ плечами.

— Самъ прїѣзжай почаще — это лучший подарокъ для меня, — говоритъ она.

Онъ начнетъ цѣловать ея руки.

— Дорогая моя, милая! И за что ты меня такъ любишь? Не стою я такой любви. Безхарактерный, негодный, гадкій я человекъ...

Говоритъ это, а у самого въ голосъ и на глазахъ слезы.

— Старайся сдѣлаться хорошимъ, — съ улыбкой замѣчаетъ она.

Онъ только вздохнетъ.

— И не вѣрится, чтобы я могъ сдѣлаться инымъ человекомъ. Вѣры у меня въ себя нѣтъ, силъ нѣтъ...

И потомъ вдругъ ободрится:

— Да нѣтъ, ты поможешь, ты поддержишь меня? Да, вѣдь? Скорѣй бы кончить дѣла и тогда...

— Да для чего ты хочешь прежде кончить дѣла, а потомъ жениться? Развѣ теперь нельзя?

— Но какъ же? Тутъ нужно развѣзжать,

вотъ въ имѣніе нужно съѣздить...

— Ну, вмѣстѣ будемъ ѣздить...

— Да, да, и то правда...

Онъ встрепенулся, когда она это сказала, ухватился за эту мысль, заторопился свадьбой...

— Боюсь я, кутить онъ, — какъ-то замѣтилъ мнѣ Миша.

— Что ты, у него дѣла, — сказала я, испугавшись.

— Да, дѣла и кутежи, кутежи и дѣла, и чего больше — это одинъ Богъ знаетъ! — продолжалъ онъ. — Не можетъ онъ вырваться изъ кружка своихъ товарищей. Теперь они еще больше осѣтятъ его. Ну, и за нѣсколько мѣсяцевъ воздержанія нужно же себя вознаграждать. Потомъ угрызенія совѣсти. Э, да кто разберется въ этой душѣ!.. Тяжело будетъ Олѣ вырвать его изъ этого омута.

— Ну, уѣдутъ, тогда...

Миша перебилъ меня.

— Никуда онъ самъ не уѣдетъ, силой его можно только вырвать... И зачѣмъ только его оправдали! Сослать бы его, далеко сослать, чтобы ни старыхъ друзей, ни прежней обста-

новки, ни знакомыхъ соблазновъ не было. Тогда, можетъ-быть, еще и исправился бы... хотя и то сомнительно...

Впервые я видѣла Мишу не только раздраженнымъ, но почти злымъ.

Я перебилъ рассказъ старушки и спросилъ:

— Неужели Ольга Александровна дѣйствительно любила его?

Марья Ивановна вопросительно посмотрѣла на меня, точно не сразу понявъ мой вопросъ, и потомъ сказала:

— То-есть была ли она въ него влюблена? Нѣтъ, нѣтъ! Просто любила его, какъ мать. Вы, мужчины, этого чувства не знаете. Это мы, женщины, способны такъ любить. Вотъ у меня тоже дѣти были, одинъ родился горбатенькимъ и хроменькимъ, такъ я, что грѣхъ таить, больше всѣхъ другихъ дѣтей его любила. Такъ вотъ и она его любила... Ну, а онъ — одъ безъ ума отъ нея былъ... Это-то и мучило его: съ одной стороны любовь, а съ другой проклятая привычка, отъ которой силъ не было отдѣлаться... Если бы онъ не любилъ ее такъ сильно, давно бы онъ на ней женился,



не заботясь, что за доля ждетъ ее впослѣдствіи... А его мысль объ этомъ постоянно мучила, постоянно грызло сознание, что онъ ее загубить...

Она вздохнула.

— Душа-то человѣческая вся изъ противорѣчій состоитъ. Станешь въ ней рыться — самъ не вѣришь, какія чувства къ ней рядомъ живутъ...

Потомъ она опять перешла къ разсказу:

— Великій постъ приходилъ къ концу. Свадьба должна была состояться на Өоминой недѣлѣ. Не безъ страха смотрѣла я на Олю, готовя все къ ея свадьбѣ, точно хоронить ее собиралась. И сама она была тревожна, вдумчива, серьезна. Только она боялась не того, чего я боялась. Я боялась, что ей тяжело будетъ жить въ замужествѣ, а она — она не вѣрила до послѣдней минуты, что ей придется назвать мужемъ Николашу. И каждый разъ, когда онъ не являлся день или два — ея тревога росла. И у него въ отношеніяхъ къ ней начали проявляться какія-то неровности, всего чаще сталъ онъ говорить, что его нужно бы бросить, оставить у дверей какого-нибудь кабака

издохнуть. А то вдругъ начиналъ просить, чтобы она не оставляла его, не сердилась на него, имѣла бы съ нимъ терпѣніе. Только разъ случилось такъ, что онъ не приходилъ четыре дня сряду. Оля ходила блѣдная, похудѣвшая, молчаливая, точно къ смерти приговоренная. Наконецъ не выдержала она, пошла сама къ нему...

Старушка печально качала головой.

— Пришла она къ нему, позвонила, говоритъ человѣку: «баринъ дома?» Человѣкъ усмѣхнулся, говоритъ: «дома-съ». Велѣла она его позвать и осталась ждать его въ залѣ. Тутъ только она услышала звуки голосовъ въ другихъ комнатахъ, громкій хохотъ, звонъ посуды. Она испугалась, понявъ, что у Николаши гости. Но уходить было поздно, въ дверяхъ показался самъ Николаша съ салфеткой въ рукѣ, весь раскраснѣвшійся, пошатывающійся.

— Это ты? — воскликнулъ онъ. — Что случилось? Какъ ты сюда попала!

— Ты такъ давно не былъ... я думала, — начала она съ смущеніи.

— А! Поглядѣть захотѣлось, какъ я живу...

Не рано ли начинаешь шпионить?

Онъ сдѣлалъ къ ней нѣсколько шаговъ, спотыкаясь на ходу, и засмѣялся:

— Ну, что-жъ, смотри... Хорошъ?.. Что-жъ, хорошъ, не хорошъ, а жить съ такимъ придется. Да. Только помни...

Онъ нахмурилъ брови и продолжалъ рѣзко:

— Я не желаю, чтобы за мной шпионили!.. На помочахъ хотятъ водить... теперь уже... что же будетъ послѣ... я не ребенокъ... всѣ такъ живутъ... всѣ!..

Она поняла, что съ нимъ нельзя говорить, что нужно скорѣе уйти. Ее душили слезы.

— И что за манера: къ холостому мужчине ходить, къ жениху ходить? Что скажутъ люди: невеста ходить къ жениху! Гдѣ это видно? Я хочу, чтобы мою жену уважали, чтобы не говорили, что она сама шлялась ко мнѣ невестой, вѣшалась на шею... И безъ того говорятъ, что меня пленать жена будетъ! Да... Взнудать и осѣдлатъ хотятъ...

Оля только вскрикнула:

— Довольно! Довольно!

Она, захлебываясь слезами, шатаясь, по-

шла къ выходу. За нею раздался смѣхъ нѣсколькихъ голосовъ пріятелей и пріятельницъ Николаши. Они изъ любопытства пробрались къ дверямъ залы, чтобы посмотрѣть, съ какой незнакомкой бесѣдуетъ хозяйинъ. Обернувшись назадъ и увидавъ всю эту пьяную ватагу, Николаша сразу какъ бы отрезвѣлъ и крикнулъ:

— Подлецъ, подлецъ!

На другой день Николаши не стало: онъ наложилъ на себя руки.

Марья Ивановна, круто оборвавъ рассказъ, набожно перекрестилась.

\* \* \*

— Ты бы расплакался, — продолжала Латкина, спустя минуту: — если бы тебѣ показать письмо, написанное имъ передъ смертью Олѣ. Всю душу онъ излилъ въ немъ, писалъ, что онъ сознаетъ, что для такихъ людей, какъ онъ, нѣтъ исправленія, что ихъ нужно держать въ четырехъ стѣнахъ, въ тюрмѣ, чтобы они отстали отъ своихъ привычекъ, что его привычки приняла характеръ умопомѣшанія, и бороться съ ними уже нельзя, что онъ, женившись на Олѣ, не исправил-

ся бы, а только загубилъ бы и ее, такъ какъ она не была бы даже застрахована отъ оскорбленій. Поистинѣ слезами все письмо было написано. Въ концѣ его просилъ онъ прощенія у нея, у всѣхъ насъ... А люди-то, люди-то что стали говорить, узнавъ о его самоубійствѣ. И подлець-то онъ, и негодяй-то, и отцеубійца. Господи, и послѣ смерти-то не пощадили его, не сжалились надъ нимъ. Всѣ, всѣ забросали грязью, обвинили...

— И только Ольга Александровна вынесла ему оправдательный приговоръ? — сказалъ я.

— Да, и она, и мы, то-есть я и Миша, — добавила старушка. — Но, вѣрь мнѣ, голубчикъ, на страшномъ судилищѣ не обвинителей, а оправдывающихъ услышитъ Господь!

Воцарилось на нѣсколько минутъ тяжелое молчаніе. Потомъ старушка, вздыхая и качая головой, тихо прошептала:

— Вотъ ужъ и полгода прошло послѣ его смерти, а Оля все еще не вполнѣ успокоилась... Жду я, не дождусь, когда она опять повеселѣетъ, расцвѣтетъ... Миша не теряетъ надежды, бодро смотритъ на будущее... Что-жъ, можетъ-быть, Богъ и успокоитъ ее, будетъ

она еще счастлива... Въдь Мишу-то она любить.

Черезъ нѣсколько минутъ на аллеѣ передъ террасой показались Михаилъ Петровичъ и Ольга Александровна. Они шли тихо, рука объ руку, она склонилась немного къ нему на плечо. Ихъ лица были невозмутимо спокойны и, какъ мнѣ показалось, выражали полное счастье. Можетъ-быть, они, эти два добрыхъ и честныхъ существа, договорились до послѣдняго желаннаго слова. Дай Богъ!

— И взгляни, что за пара! — тихо шепнула мнѣ Латкина. — Они-то ужъ сумѣютъ быть счастливыми...

Лѣтній день уже клонился къ концу, въ саду все гуще и гуще становились тѣни, кругомъ царила невозмутимая тишина. Только изъ залы доносились ожесточенные раздражительные споры и крики: «такъ только сапожники играютъ», «вы сами лапти плетете», «съ вами садиться не слѣдуетъ». Не дожидаясь окончанія игры, весь охваченный впечатлѣніемъ слышаннаго мною разказа, я прошелъ въ отведенный мнѣ флигель. Я долго не могъ уснуть, отворивъ окно и смотря на

разстилавшіеся передъ нимъ холмистые луга, прорѣзанные извилистой рѣчкой. На необозримомъ пространствѣ не было ни души; сама природа, казалось, погрузилась въ сладкую дремоту подъ темнѣвшимъ надъ нею безоблачнымъ, звѣзднымъ небомъ. Въ моей головѣ роились думы о тѣхъ людяхъ, которые предстаютъ на судъ ближнихъ, о тѣхъ ближнихъ, которые выносятъ этимъ людямъ обвинительные или оправдательные приговоры. Какія обстоятельства, какія невзгоды, какія скрытыя отъ всѣхъ страданія доводятъ однихъ людей до проступковъ, до преступленій, до паденія, а другимъ въ рѣшительную минуту суда надъ ближнимъ, завѣдомо преступнымъ, очевидно виноватымъ, уличеннымъ во всемъ, внушаютъ произнести: «Нѣтъ, невиновенъ!» И этотъ вопросъ — вопросъ объ обвинительныхъ и оправдательныхъ приговорахъ — казался мнѣ болѣе глубокимъ и болѣе сложнымъ, чѣмъ онъ представляется обыкновенно въ какихъ-нибудь полемическихъ газетныхъ статьяхъ, написанныхъ наскоро людьми, боящимися не опоздать къ партіи въ винтъ...

# IX

## Изъ встрѣчь съ здоровыми людьми

Въ частной человѣческой жизни есть тоже свои високосные годы. Они отличаются отъ обыкновенныхъ високосныхъ годовъ только тѣмъ, что послѣдніе наступаютъ періодически, черезъ извѣстные сроки, а въ первыхъ человѣкъ никогда не можетъ сказать впередъ, когда ему придется поминать Касьяна Немилостиваго. Такимъ високоснымъ годомъ для меня былъ 1877 годъ, и въ немъ Касьянъ былъ именинникомъ, кажется, не одинъ разъ, а едва ли не триста шестьдесятъ пять разъ. Нѣсколько тяжелыхъ утратъ и сотни мелкихъ неудачъ, составившихъ вмѣстѣ одну большую неудачу, потрясли окончательно мое здоровье. Къ веснѣ 1878 года я былъ уже совсѣмъ боленъ. Пришлось обратиться къ совѣтамъ друга-доктора.

На дворѣ стоялъ одинъ изъ первыхъ теплыхъ, полныхъ блеска и свѣта, весеннихъ дней. Я, полубольной, лежалъ на диванѣ и



лѣниво исправлялъ слогъ въ какой-то статьѣ о дифтеритѣ, сознавая, что она и при дурномъ, и при хорошемъ слогѣ отъ дифтерита никого не спасетъ. За этимъ занятіемъ засталъ меня мой милѣйшій докторъ, Василій Карловичъ Штуббе, старый обрусѣвшій нѣмецъ, гораздо больше знавшій толкъ въ сортахъ пива и вина, чѣмъ въ лѣкарствахъ. Именно по этой причинѣ я глубоко вѣрилъ въ его способность не уморить человѣка, когда тотъ еще можетъ пожить. Увидавъ, что я работаю, онъ укоризненно покачалъ головою.

— Пишетъ, что не здоровъ, а самъ строчить что-то, — проговорилъ онъ, протягивая мнѣ широкую, пухлую руку съ толстыми, плоскими и короткими пальцами.

— Нельзя, дружище, неотложное дѣло, — отвѣтилъ я, дружески здороваясь съ нимъ.

— Неотложное дѣло только одно — поправленіе здоровья, — наставительно замѣтилъ онъ, удобно усаживаясь противъ меня на кресло. — Ну, говори, что у тебя?

— Право, не могу объяснить, — сказалъ я. — Можетъ-быть, это даже и не болѣзнь... Просто чувствую слабость, апатію, страдаю

бессонницей...

Онъ взялъ мою руку и сталъ щупать пульсъ. Подержавъ мою руку, онъ очень серьезно взглянулъ на меня и произнесъ:

— Дай-ка другую руку!

Я исполнилъ требованіе, и онъ опять сталъ ощупывать пульсъ.

— Да гдѣ же у тебя пульсъ-то, наконецъ, — проговорилъ онъ нетерпѣливо.

— Это ужъ твое дѣло отыскать его, — отвѣтилъ я съ улыбкой. — Ты на то и докторъ.

— Да, ищи того, чего нѣтъ! — хмуро замѣтилъ онъ. — Раздѣнься, я тебя выслушаю...

Я приподнялся съ дивана и сталъ раздѣваться. Это меня очень утомило, и у меня сдѣлалась одышка.

— Ты что же это такъ дышишь, какъ паровозъ? — спросилъ Штуббе.

— Усталъ, — отвѣтилъ я.

— Съ чего это?

— Да вотъ... раздѣвался, — пояснилъ я.

Онъ покачалъ головой съ сомнѣніемъ, потомъ припалъ ухомъ къ моему сердцу.

— Да у тебя сердце-то есть или нѣтъ? —

спросилъ онъ.

— Говорять, что было когда-то, — отвѣтилъ я шутливо.

— Что-то его нынче не слыхать!..

Онъ поднялъ жирное, раскраснѣвшееся отъ прилива крови лицо съ красно-синимъ носомъ и, глядя на меня зоркими, хотя и заплывшими жиромъ глазами, сказалъ:

— А это что за отеки у тебя подъ глазами? Въдь это мѣшки съ водой...

Онъ сѣлъ снова на кресло и откинулся къ его спинкѣ.

— Чего тебя лѣчить? — пренебрежительно сказалъ онъ.

— Ты находишь мое положеніе опаснымъ? — тревожно спросилъ я.

— Еще бы не опаснымъ! Такъ-то достучаться до гроба можно, — равнодушно отвѣтилъ онъ. — Полный упадокъ силъ, малокровіе...

И вдругъ оборвавъ рѣчь, онъ спросилъ меня:

— Ты какое вино пьешь?

— Я совсѣмъ не пью вина.

— Очень глупо дѣлаешь!.. Въ собранія, въ

клубы, въ театры часто выѣзжаешь?

— Я, дружище, совсѣмъ домохозяинъ сталъ... и притомъ работа.

— Ну, а работаешь много?

— Да что же дѣлать, какъ не работать.

— Вотъ ты говорилъ о бессонницѣ. Что ты дѣлаешь, когда не спится?

— Тоже работаю, читаю...

— Значить, двадцать четыре часа въ сутки и еще нѣсколько минутъ за одной и той же умственной работой, — пояснилъ онъ съ ироніей.

И, вынувъ изъ портсигара сигару, онъ заговорилъ уже совсѣмъ пренебрежительно:

— А еще умнымъ человѣкомъ сльвешь и самъ себя умнымъ считаешь! Этакое самообольщеніе!

Я улыбнулся.

— Что же ты ругаешься? — спросилъ я.

— Да какъ же не ругаться! — отвѣтилъ онъ, закуривая сигару. — Вина не пьеть, развлеченій избѣгаетъ, работаетъ безъ передышки и хочетъ быть здоровымъ!

— Но, дружище, — попробовалъ я возражать; но онъ не далъ мнѣ договорить.

— И хороша должна выходить работа, исполняемая при такихъ условіяхъ! Ни энергіи, ни здоровья, ни ясности взглядовъ не можетъ быть въ ней. Я еще понимаю, если работать такъ, какъ я, спокойно, не горячась, не волнуясь, а то вы вѣдь и работаете, и нервничаете. При такомъ образѣ жизни могутъ развиваться только безпредметное недовольство, апатія, пессимизмъ...

— А ты, милѣйшій, за оптимизмъ? — спросилъ я.

— Я за здоровье, — отвѣтилъ онъ коротко. — Однако, надо кончить выслушиванье.

Онъ отложилъ сигару и снова принялся выслушивать и выстукивать меня. Кончивъ эту работу, онъ опять взялъ сигару и развалился въ креслѣ. Я одѣлся.

— Ты коньякъ или ромъ больше любишь? — спросилъ онъ.

— Ни того, ни другого, — отвѣтилъ я.

— Очень дурной вкусъ или, лучше сказать, отсутствіе всякаго вкуса. Ну, такъ ты пей коньякъ. Если не хочешь такъ пить, пей съ молокомъ, какъ бабы пьютъ; прикажи сварить крѣпкаго кофе. Выпей пару чашекъ. Можешь

тоже съ коньякомъ. Гуляй какъ можно больше и послѣ поѣшь ростбифу или...

— Ну, братъ, мнѣ некогда гулять; работа, — началъ я.

— Да, кстати! Работу ты брось на мѣсяць или на два... Лучше бы мѣсяца на три, на четыре...

Я широко открылъ глаза,

— Какая можетъ быть у тебя работа, пачкотня какая-нибудь, — продолжалъ онъ, какъ бы въ отвѣтъ на мой взглядъ.

— Ну, пачкотня или нѣтъ... — обиженно началъ я.

— Разумѣется, пачкотня, — уже настойчиво и утвердительно перебилъ онъ меня. — Что же порядочнаго можетъ сдѣлать совсѣмъ больной, потерявшій всѣ силы, страдающій малокровіемъ человѣкъ?

Я начиналъ сердиться; докторъ угадалъ: въ послѣднее время я больше рвалъ бумагу, чѣмъ исписывалъ ее: это меня крайне тревожило, тяготило, даже пугало; я сознавалъ, что я не могу ничего написать спокойно, не раздражаясь.

— Я согласенъ, — заговорилъ я: — что во вре-

мя нездоровья пишется не такъ хорошо; но вѣдь не могу же я не работать. Это источникъ моего существованія.

На меня напало уныніе. Докторъ пожалъ плечами.

— Все равно, дрянъ писать будешь — насидишься безъ хлѣба, — отвѣтилъ онъ.

По мнѣ пробѣжала дрожь. Я уже нерѣдко задумывался о томъ, что можно остаться безъ хлѣба. Что будетъ тогда?

— Да, но теперь у меня нѣтъ средствъ, — началъ я въ смущеніи.

Онъ окинулъ глазами комнату и разсмѣялся.

— Средствъ нѣтъ, а малахитовыя украшенія на письменномъ столѣ!

— Мнѣ этл подарено, — сказалъ я, какъ бы оправдываясь.

Онъ взялъ одну изъ малахитовыхъ вещицъ, повертѣлъ ее передъ глазами и съ пренебреженіемъ положилъ снова на столъ.

— И ничего хорошаго нѣтъ, — проговорилъ онъ. — Именно дрянъ, а между тѣмъ на то, что она стоитъ, не одну бутылку вина могъ бы купить...

Потомъ онъ взглянулъ на книги, на моихъ неизмѣнныхъ друзей, пережившихъ всѣ другія дружбы, кончающіяся всегда предательствомъ, если только преждевременная смерть не спасетъ отъ этого.

— Вонъ тоже книги въ какихъ нарядныхъ рубашкахъ! — продолжалъ Штуббе. — На балы собирался ихъ выводить, что ли? Или любишь и книгу-то только тогда, когда она принаряжена? И, вѣрно, какая-нибудь роскошно-изданная чепуха! Продай! Поройся, такъ еще что-нибудь найдешь. Мебель — твоя? Да? Ну, а на что она тебѣ? Нанимать можно квартиру и съ мебелью. Связать себя разнымъ хламомъ и удивляется, что съ такими оковами на рукахъ и ногахъ съ мѣста не можешь сдвинуться.

Меня это начинало злить.

— Да ты-то развѣ хуже обставился? — спросилъ я.

— Вонъ сравнилъ! — равнодушно отвѣтилъ докторъ. — Я еще думаю, что надо улучшить мою обстановку. Чѣмъ она лучше, тѣмъ больше платятъ. — У меня это въ расчеты входитъ...



Затѣмъ онъ перешелъ къ другой темѣ.

— И много ли тебѣ нужно на путешествованіе? Въ третьемъ классѣ дешево ѣздить и для наблюдателя интереснѣе. Въ городахъ, въ провинціи, вѣрно, есть знакомые, гдѣ можно даромъ прогостить недѣлю, другую, пока не надоѣшь. Ну, а если нѣтъ, такъ въ провинціи и теперь еще можно дешево устроиться... Истратишь такимъ образомъ мало, а пріобрѣтешь много: и здоровье, и способность снова писать...

Я опять хотѣлъ заговорить, но онъ остановилъ меня движеніемъ руки.

— Нѣтъ, я тебѣ говорю вполнѣ серьезно, что тебѣ нужно уѣхать, говорю, какъ докторъ и какъ другъ и доброжелатель. Это нужно для твоего здоровья и, главнымъ образомъ, для твоихъ успѣховъ.

Штуббе на минуту остановился и потомъ мягкимъ тономъ, какъ бы боясь огорчить меня, прибавилъ:

— Ты, мой другъ, слишкомъ желчнымъ сталъ, на все смотришь мрачно, и потому все, что ты пишешь, — ты извини меня за откровенность! — является диссонансомъ въ наше-

мъ міръ довольства и благополучія.

Я широко открылъ глаза.

— Какъ? Ты, значить, думаешь, что все идетъ отлично, что всѣ довольны и благополучны? — воскликнулъ я. — Это теперь-то?

— А то какъ же? Если бы люди были не довольны я не благополучны, то всѣ давно перевѣшались бы и перестрѣлялись бы; если бы все шло но отлично, то всѣ стремились бы къ лучшему, а не сидѣли бы, сложа руки...

— Ну, ты, можетъ-быть, хорошій докторъ, а по части остроумныхъ парадоксовъ ты плохъ, — сказалъ я.

— Да я вовсе и не думалъ высказывать парадоксовъ. Это просто мое убѣжденіе. Живутъ люди — значить, жизнь хороша, не рвутся ни къ какимъ новшествамъ — значить, порядки имъ по душѣ. Да вотъ ты возьми хоть меня въ примѣръ. Чего мнѣ желать? Практики много.

— То-есть больныхъ много? — вставилъ я.

— Конечно, не здоровыхъ же мнѣ лѣчить! — отвѣтилъ онъ. — Гробовщики тоже довольны, когда работы много, аптекаря тоже. На этомъ міръ держится. Была бы работа, были бы деньги — и все хорошо для здороваго

человѣка.

— Ну, братъ, бываетъ такая работа, что... — началъ я.

— Ахъ, не все ли равно какая! — перебилъ онъ меня. — Что-жъ ты думаешь, что мнѣ желать надо, чтобы больныхъ не было? Или адвокатъ долженъ стремиться, чтобы люди не судились? Да случись это, тогда и жить будетъ нельзя.

— Ахъ, ты, циникъ!

— Циникъ не циникъ, а что правда, то правда! Съ твоими-то взглядами на работу, человѣчество и безъ мяса бы передохло и во всякихъ нечистотахъ потонуло бы.

— Какъ такъ?

— А такъ, что и быковъ не весело бить, да и грязь разную выгребать не сладко. Нѣтъ, хочешь кормиться работой, такъ, съ одной стороны, чувствительности отбрось, а съ другой — брезгливость-то свою спрячь подальше. Человѣчество такъ и живетъ...

Онъ усмѣхнулся.

— Да, живетъ такъ — и счастливо... Конечно, я говорю о здоровыхъ людяхъ, а не о васъ, больныхъ и худосочныхъ... Вотъ я теперь

лъчу дѣвочку-урода, да такого урода, что ты, взглянувъ на нее, разревѣлся бы. Мнѣ даже жутко стало, когда я ее увидаль впервые, невольно подумалъ: «ужъ лучше бы умерла». А отецъ съ матерью плачуть, умоляютъ спасти. «Мы, говорятъ, просвѣтъ увидѣли съ той поры, какъ она родилась. Теперь и купцы, и господа, какъ прослышать о ней, ѣдутъ посмотрѣть, прослезятся и помощь сейчасъ оказываютъ. А допрежь того бились-бились, никто руки не протянулъ». Вотъ ты тутъ и толкуй. Родителямъ плакать бы надо, что такой уродъ живетъ, а они радуются.

— А спросить бы ее, каково ей! — горячо воскликнулъ я.

— Что? — переспорилъ Штуббе и засмѣялся жирнымъ смѣхомъ. — Да не будь она уродомъ — ее бы въ черномъ тѣлѣ держали, воду да щепки таскала бы, какъ другія нищія, голодала бы по цѣлымъ днямъ, а теперь — теперь ее ублажаютъ, какъ идола. Чего лучше... Будь она хорошенькой — проституткой бы сдѣлалась, а теперь и невинность сохранить, и проживетъ безъ нужды... Нѣтъ, братъ, присмотришь къ міру и увидишь, что

всѣмъ онъ доволенъ...

Докторъ докурить сигару и, еще разъ повторивъ свои совѣты, ушелъ. Я тяжело, съ какой-то тайной завистью къ этому здоровому человѣку, задумался о себѣ, о состояніи своего духа. Я сознавалъ, что онъ былъ правъ относительно необходимости путешествія, относительно ненужности окружавшаго меняхлама, всей этой обстановочки, скопившейся неизвѣстно какъ, въ теченіе десятковъ лѣтъ. «Продать, продать весь мысленно повторялъ я, и мнѣ вдругъ сдѣлалось такъ легко, какъ будто я уже ощущалъ паденіе оковъ съ моихъ рукъ и ногъ. Да, имущество, обстановка, это страшные кандалы въ извѣстныя минуты, когда хочется бѣжать, бѣжать и только бѣжать даже отъ тѣхъ, кого когда-то любилъ. Именно это чувство охватило меня всего тогда, и я испытывалъ почти ненависть ко всему окружавшему меня, ко всѣмъ окружавшимъ меня, — ненависть за то, что все это мнѣ знакомо, какъ свои пять пальцевъ. Я походилъ на человѣка, принужденнаго изо-дня въ-день смотрѣть на одну и ту же стѣну, гдѣ ему знакомы каждая царапина, каждый кирпичъ.

Какъ она ни будь хороша, ее можно возненавидѣть уже за одно то, что она не измѣняется, не дѣлается хоть хуже, но другою. И я бѣжалъ...

\* \* \*

...Я сладко дремалъ, сидя въ вагонъ третьяго класса. Меня вывелъ изъ этой дремоты какой-то молодой, но охрипшій отъ вина голосъ. Онъ назойливо повторялъ кому-то:

— Пей, пей! Говорю тебѣ, пей!..

Другой старческой, вкрадчивый и подобострастный голосъ отвѣчалъ ему:

— Не могу-съ, ей-Богу, Спиридонъ Николаичъ, не могу-съ! Тятенька вашъ строго-на-строго наказывалъ: „не пей, Патапъ, и береги Спирю“. Это то-есть васъ, Спиридонъ Николаичъ, я беречь должонъ. Какъ же мнѣ пить?

— Ну, если такъ, то и чортъ съ тобой, старый хрѣнъ! Я компанію найду! Всѣхъ пассажировъ поить стану! Мнѣ компанію всякій сдѣлаеть, потому я плачу за все...

Я открылъ глаза...

Противъ меня сидѣлъ плюгавенькій старичонка изъ старыхъ приказчиковъ съ обдерганною рыжею съ просѣдью бороденкою. Пе-

редь нимъ, шатаясь, стояль молоденькїй, пухленькїй, розовый купчикъ, похожїй на вербнаго херувима. Его нечего было спрашивать, здоровый ли онъ человекъ... Онъ былъ одѣтъ, какъ иногда одѣваются иные водевильные актеры, если они не умѣютъ смѣшить публику своими талантами: невообразимо большіе съ оттопыренными концами воротнички, спереди вырѣзъ рубашки чуть не на половинѣ груди, синїй съ бѣлыми мушками галстукъ, коричневая панталоны, бѣлый жилетъ съ пестрыми разводами, все это было дѣйствительно смѣшно по своему безвкусію. При этомъ, на жилетѣ болталась толстая цѣпочка съ массой брелочковъ, на галстукѣ была дорогая коралловая булавка, на пальцахъ сверкали кольца съ крупной бирюзой и брильянтами.

— Ну, такъ не пойдешь пить? — спрашивалъ купчикъ.

— Никакъ не возможно-съ! — отвѣтилъ старикъ.

— Ну, и чортъ съ тобой, кикимора поганая! Пойду къ мамзелѣ...

— Къ какой мамзелѣ?

— А къ той, во второмъ классѣ сидить!..  
Мой взоръ вездѣ мамзель отыщеть...

Купчикъ, шатаясь, вышелъ изъ вагона, сдвинувъ на затылокъ кругленькую шляпу-котелокъ.

— Куролесить! — со вздохомъ сказалъ старикъ.

Вагоны медленно начали двигаться отъ станціи. Становилось уже совершенно свѣтло, хотя и было очень рано.

— Хозяйскій сынокъ, — обратился ко мнѣ старикъ. — Муху еще со вчерашняго вечера убиль, ну, и куролесить всю ночь... Въ Нижній, въ Саратовъ, да въ Астрахань его тятенька евонный отправиль провѣтриться.

Я усмѣхнулся.

— Хорошо провѣтривается, — невольно замѣтилъ я.

— Это онъ горе запиваетъ, — съ усмѣшкой пояснилъ старикъ.

— Горе?

— Не то, чтобы точно горе, а такъ куражится, быдто и точно съ горя... Прикидывается!.. Въ душѣ-то ликованіе, а для виду напустилъ отчаянность... И то сказать, какъ не радовать-



ся, руки развязались, и еще деньги дадены за гульбу... Известно, балованный сынокъ! Оди-инь у насъ!

Старикъ подстрекнулъ мое любопытство. Спать мнѣ уже не хотѣлось, и я завязалъ бесѣду. Онъ оказался словоохотливымъ и видимо былъ радъ, что можетъ поговорить.

— Мы по чайной торговлѣ,- началъ онъ. — Можетъ, слыхали про Николая Спиридоновича Шлычкина, такъ это евонный, Спиридо-на-то Николаевича, тятенька и есть, чаями торгуеть. Богатѣйшій купецъ. И то сказать, не со вчерашняго дня торговлю началъ. Мнѣ вонъ сколько лѣтъ, а я еще при дѣдушкѣ Спиридона Николаевича къ нимъ въ домъ въ племянники былъ взятъ. На моихъ глазахъ все выросло и посейчасъ всѣми дѣлами ору-дую. На ярманку или куда въ губернію съѣздить — все Патапъ, да Патапъ. Это меня Патапомъ-то зовутъ... Дѣтьми вотъ только Богъ обошелъ Николая Спиридоновича: ужъ са-ма-то хозяйка и къ Митрофанію въ Воронежъ ѣздила о плодородіи молиться, а одинъ толь-ко Спиридонъ Николаичъ и есть. Какъ зѣницу ока берегутъ, потому помри онъ, и всѣ

капиталы собакъ подъ хвостъ, прости Господи, пойдутъ. Родныхъ, какъ есть, ни души...

— А горе-то какое у него? — перебилъ я рассказчика.

— Швейку соблазнилъ, — отвѣтилъ старикъ:— чиновничью дочь, пятнадцатилѣтнюю... Оно, конечно, сами видѣли: человекъ молодой, кровь играетъ, всего такого требуетъ, безъ дѣвчонки тутъ никакъ не обойдешься. Ну, и давно онъ съ этимъ женскимъ сословіемъ хороводится, а тутъ случись бѣда — эта вотъ, чиновничья-то дочь, подвернулась. И не то, чтобы настоящаго такого чиновника, а такъ какого-то ярыги она дочь. Увивался за ней, увивался Спиридонъ Николаичъ, да и напоролся: перво-наперво дѣвочка была яко бы честная, второе дѣло въ несовершеннолетнихъ годахъ была, а главное — отецъ на кляузахъ собаку съѣлъ. Какъ это только у Спиридона Николаича съ ней за предѣлы зашло, отецъ ея и шастъ къ молодчику, точно изъ-подъ земли выросъ: „какія такія, говоритъ, ваши мнѣнія?“ Нашъ-то — головой онъ у насъ не вышелъ, не мозговать, никакихъ такихъ мнѣній у него нѣтъ, — сей-

часъ и ляпнуть: „я жениться желаю“. Тутъ и пошла катавасія...

Старикъ на минуту смолкъ и потомъ продолжалъ уже болѣе торжественнымъ тономъ:

— Не имѣю я чести, сударь, васъ знать. Но всячески можете вы взять въ свое разсужденіе, каково отцу-милліонщику видѣть, что его единоутробный сынъ и наслѣдникъ выражаетъ намѣреніе сочетаться законнымъ бракомъ съ какой-нибудь дочерью кабацкаго засѣдателя, съ швейкой-ободрашкой, съ мразью, можно сказать! Ударь, мы думали, съ самимъ-то хозяиномъ сдѣлается, а Марья Анисимовна — это мать-то Спиридона Николаича-то, — какъ узнала, ахнула: и говоритъ: „вы тамъ что хотите дѣлайте, а я слезы проливать до тѣхъ поръ стану, пока вы не ослобоните Спирю отъ этой мерзавки“. Марья Анисимовна не знала эту самую швейку, но находилась въ томъ мнѣніи, что все это одинъ подвохъ и кляуза, потому что, если женщина не захочетъ, никогда ее мужчина не совратитъ. Вотъ-съ и стали мы орудовать. Призвалъ меня Николай Спиридоновичъ и говоритъ: „откупей Спирю“.

— И откупили? — спросилъ я,

— Откупилъ-съ, — со вздохомъ отвѣтилъ старикъ. — Да и не легко же это мнѣ досталось. Тутъ только я узналъ, что значить самая эта женская прелесть и какъ она человѣка въ омраченіе приводитъ... Самъ-то я холостой, не удосужился какъ-то сочетаться бракомъ, на себѣ не испытывалъ... Такъ вотъ я и говорю, впервые я на Спиридонѣ Николаичѣ увидалъ, какъ это льнетъ человѣкъ къ бабьей юбкѣ. Пришлось мнѣ не только съ отцомъ невѣсты да съ нею самой валандаться, а и Спиридона-то Николаича силой нужно было отъ нея оттаскивать... Ей-Богу-съ!.. Бывало, это, придешь къ ея отцу, сторгуешься съ нимъ, ее вразумишь, — кажется, все кончилъ, а Спиридонъ Николаичъ выпьетъ лишнее съ пріятелями и катаетъ опять къ ней, говорить: „Жить я безъ тебя, не могу! Гдѣ я такую другую найду“. Ну, на другой день и дочь, и отецъ опять на дыбы лѣзутъ: „Спиридонъ, молъ, Николаичъ женится, а отецъ его единственнаго своего наслѣдника по-міру не пуститъ“. Вотъ вы тутъ и толкуйте. Только и помогло, какъ подъ арестъ взяли Спиридона Николаича.

ча.

— Какъ подѣ арестъ? — спросилъ я.

— А такъ, скрутили его, да и замкнули въ темную комнату... Въ дверяхъ форточку сдѣлали, чтобы ѣду ему давать...

Старикъ разсмѣялся.

— Много было тогда у насъ смѣху. Только Марью Анисимовну все лихорадка колотила. Извѣстно, мать боялась, какъ бы сынъ рукъ на себя не наложилъ... Ну, да ему чего накладывать на себя руки. Слава Богу, птичьего молока только недостаетъ... Пока онъ сидѣлъ въ темной, мы все дѣло и обдѣлали, дали отступного и все такое. Пріискали дѣвчонкѣ жениха подходящаго изъ канцелярскихъ, самъ я и свадьбу варганилъ. Балъ задали, ужинъ. Я молодой-то и говорю: „Ишь, какой тебѣ мужъ-то теленокъ цопался. Не то, что нашъ. Нашъ-то тебя въ гробъ вогналъ бы. А этотъ — палецъ ему положи въ ротъ, такъ онъ зубовъ не стиснетъ“. Говорю это и вижу, что рада и сама она шельма, потому и точно Спиридонъ Николаичъ истиранилъ бы ее, онъ у насъ балованный, съ норовомъ... Скоро бы надоѣла...

Старикъ умолкъ.

— Ну, а когда выпустили молодца изъ темной, не пошелъ онъ къ ней? — спросилъ я.

— Зачѣмъ ему идти, — отвѣтилъ старикъ. — „Я, говоритъ, не намѣренъ ее съ другимъ дѣлать, да еще ему же на содержаніе давать. Какую-никакую другую для одного себя найду, сходнѣе будетъ“. Онъ у насъ молодъ-молодъ, а расчетливъ. Въ крестные отцы она его, спустя мѣсяцъ, звала — не пошелъ. „Обирать, говоритъ, хотятъ“. Вскочило это только въ копеечку Николаю-то Спиридоновичу. Не говоря ужъ о томъ, что пришлось не одну тысячу отступного выдать, — а сколько на Спиридона-то Николаевича просадили. Сперва ему триста рублей въ мѣсяцъ отпускали, а тутъ и трехъ тысячъ стало мало. Напустилъ это онъ на себя отчаянность и говорить: „Если у меня дорогую мою невѣсту отняли, такъ мнѣ надо вьюномъ завиться, французинку завести, чтобы эту страсть изъ сердца вырвать“. И завился... Четвертый мѣсяцъ куролесить съ горя...

Старикъ лукаво усмѣхнулся.

— А душа-то, поди, отъ радости прыгаетъ, что руки развязаны. Мало ихъ, что ли,

дѣвчонокъ-то такихъ; на свободѣ-то не съ одной еще свяжется. При женѣ-то ужъ не то...

— Значить, всѣ остались довольны, — невольно проговорилъ я.

И мнѣ вспомнился мой докторъ, вспомнились его совѣты, какъ нужно смотрѣть здоровымъ людямъ на жизнь. Такъ вотъ, они эти здоровыя дѣти изъ міра „довольства и благополучія“, думалъ я, чуть не завидуя этимъ счастливымъ...

\* \* \*

...Поѣздъ остановился у одной изъ большихъ станцій на двадцать минутъ. Изъ вагоновъ повалилъ народъ на платформу. Около вагоновъ засновали мужики и бабы съ съѣстными припасами. Внизу подъ вагонами слышались пощелкиванья и постукиванья; тамъ шла дѣятельная спѣшная работа смазчиковъ, осматривавшихъ оси и колеса. Я остался сидѣть въ вагонѣ, смотря на движеніе, на дѣятельность. Значительная часть пассажировъ третьяго класса, „изъ простыхъ“, вовсе не входила въ комнаты вокзала, а оставалась, на платформѣ. Одни ѣли, другіе тянули квасъ, нѣкоторые тутъ же на

платформъ умывали руки и лица изъ какого-то ведра съ мутной водой. Мое вниманіе остановила на себѣ одна пара, ходившая взадъ и впередъ мимо вагоновъ. Это были дѣвушка и юноша. На ней было простенькое платье изъ розоваго ситца, на немъ была пестрая лѣтняя пара, изъ которой онъ сильно выросъ. Его коротенькіе рукава и коротенькія брючки дѣлали его долговязую фигуру крайне комичной. Но и въ этихъ коротенькихъ брючкахъ онъ, повидимому, чувствовалъ себя вполне, счастливымъ и довольнымъ. Онъ сильно размахивалъ руками и тоненькой тросточкой; она, его спутница, смѣялась на его оживленныя рѣчи, то закрывая ротъ рукою, то махая рукою и какъ бы говоря: „Да не смѣшите! Не могу больше!“ Раздался первый звонокъ, потомъ второй. Пассажиры третьяго класса торопливо повалили въ вагоны. Пара продолжала ходить по платформѣ. Наконецъ, раздался третій звонокъ, оберъ-кондукторъ далъ свистокъ, пронесся визгъ локомотива, вагоны, скрипя, задвигались съ мѣста. Въ эту минуту, какъ бомба, влетѣлъ кто-то въ нашъ вагонъ и, прежде чѣмъ я опомнился, рядомъ



съ моей головой, задѣвъ меня мокрой щекой за лицо, просунулась въ окно чья-то голова. Я невольно отстранился и увидалъ юношу въ коротенькихъ брючкахъ. Онъ чуть не по поясъ высунулся въ окно и, махая шляпой-котелкомъ въ воздухъ, кричалъ:

— Папашенькѣ кланяйтесь! Мамашенькѣ ручку поцѣлуйте! На-дняхъ безпремѣнно опять къ вашимъ услугамъ!

Потомъ такъ же быстро онъ выдернулъ себя изъ окна, выхватилъ изъ бокового кармана носовой платокъ и сталъ отирать съ лица потъ, весь сіяющій и лоснящійся.

— Это моя невѣста-съ, — выпалилъ онъ, глядя на меня глупыми смѣющимися глазами, и вдругъ, расхохотавшись, прибавилъ: — я васъ задѣлъ-съ давеча? Пардонъ-съ! Все отъ моей живости! Скоропалительный человѣкъ! Чуть въдь поѣздъ не пропустилъ!..

Онъ сталъ обмахиваться платкомъ.

— Да, ужъ любовь... это, можно сказать, такое чувство; такое, — началъ онъ снова. — Теперь, кажется, скажите мнѣ: „выскочи изъ вагона на всемъ ходу“, — ей-Богу-съ, выскочилъ бы! Я не хвастаюсь...

Я усмѣхнулся. Онъ уловилъ мою улыбку и опять расхохотался.

— Это, точно-съ, смѣшно! Для чего мнѣ выскакивать на всемъ ходу изъ вагона, когда я и такъ могу... каждый праздникъ валяю сюда!

— Вы гдѣ же живете? — спросилъ я.

— Я-съ? Тутъ не далеко, рукой подать, въ В\*... У насъ тамъ домъ свой, то-есть не то, чтобы мой, а дяденькинъ, только у дяденьки дѣтей нѣтъ, и потому домъ ко мнѣ перейдетъ. Тоже не вѣкъ же дяденька и тетенька жить будутъ. Да они мнѣ и не мѣшаютъ, пусть ихъ живутъ, пока Богъ грѣхамъ терпитъ. Въ могилѣ-то тоже еще належатся, бока устанутъ...

Онъ засмѣялся.

— Вы, должно-быть, или большой шутникъ, или ужъ очень счастливый человекъ, замѣтилъ я.

— О, вы меня не знаете! Я такой шутникъ, что страсть! — отвѣчалъ онъ. — Безъ меня у насъ, у знакомыхъ то-есть, ни одна вечеринка не пройдетъ. Меня наши знакомыя барышни какъ увидятъ, такъ и говорятъ! „ну, начнетъ морить со смѣху“. Я-съ вѣдь на всѣ руки, танцевать или въ карты, въ мельники тамъ,

либо въ Акульку, играть, тоже фанты устраивать: У меня сейчасъ эти идеи явятся; другой выдумываетъ, а у меня — разъ и готово. Вотъ начну на ферты говорить.

— То-есть какъ это? — спросилъ я въ недоумѣнїи.

— Очень просто-съ. Вотъ такъ: я-фертъ по-фертъ-шелъ-фертъ, вотъ вышло: я пошелъ. Иногда такая смѣхота выходитъ, что барышень даже въ потъ ударить...

Онъ началъ меня забавлять. Сначала онъ мнѣ показался просто придурковатымъ, потомъ я увидалъ, что это своего рода философъ, цѣлую теорїю счастья выработалъ. Шутка ли! Тоже изъ здоровыхъ людей.

— Вы служите? — спросилъ я его.

— Я по письменной части, на маленькомъ окладѣ, конечно, покуда, восемь рублей въ мѣсяцъ получаю, ну, да у насъ свой домъ, тоже куры, свиней тетенька разводитъ. Свиней, знаете, хорошо держать, потому поросята за-всегда свои; какъ-ни-какъ, а ужъ свинья принесетъ ихъ. Я вотъ тоже голубей завелъ. Ну, да это ужъ такъ, для блезиру, баловство одно. Отличные турманы есть. Нашего сосѣдскаго

понамаря сынъ тоже пытался голубей занести, да его противъ моихъ не вышли. Ша-лишь! Мои одно слово: стрѣла и камень, — вверху стрѣлою, внизъ камнемъ. Мастеръ я тоже ихъ гонять! Неутомимость все! Иногда гоняешь, гоняешь ихъ, глядишь — на дворѣ ужъ чуть не ночь. Время-то летитъ незамѣтно въ занятіяхъ!

— Гдѣ ужъ замѣтитъ, если у васъ такое развеселое житье, — проговорилъ я съ улыбкой.

— Нѣтъ, вы-этого не говорите, — сказалъ онъ. — Что-жъ, у меня житье, какъ житье, какъ и у всѣхъ прочихъ. А это я ужъ такимъ комикомъ уродился. Да-съ! Какъ тамъ ни живись, а я на комедию всегда напорюсь. По половицѣ, на ловца и звѣрь бѣжитъ. Да вотъ третьяго дня. Дяденька пришелъ подгулявши. А онъ, какъ только муху убьетъ, сейчасъ въ расположеіе духа приходитъ, радость душевная у него проявляется. Начали мы съ нимъ разныя колѣнца откалывать. Сперва двухъ свиней тетенькиныхъ вздумали за хвосты связать, да не держатся веревки, хвосты-то склизкіе, ну, и не держатся веревки. Потомъ тетенькинаго кота-Ваську. генерало-

мъ одѣли, шляпу трехугольную съ перьями изъ бумаги на него навязали. И заметался нашъ генераль, какъ угорѣлый, осатанѣль совсѣмъ, потому что перья-то надъ его головой развѣваются, а сцарапать трехуголку не можетъ. Комедія. Потомъ тетенька пришла; какъ увидала все это, и смазала дяденьку лотенцемъ по лицу. Онъ, было, въ азартъ вошелъ, да посклизнулся, тетенька и подмяла его подъ себя... Потѣха! Просто бока раскололо отъ хохота!

Онъ вдругъ смолкъ и сдѣлалъ серьезную мину.

— Конечно-съ, если-бы это взаправду драка была, то одно безобразіе бы было, а то это такъ — мужъ и жена промежду себя повздорили, — продолжалъ онъ сдержанно. — Безобразіевъ у насъ въ семьѣ нѣтъ никакихъ. И дяденька съ тетенькой вѣкъ честно прожили, и я вотъ потому такъ пристрастенъ къ своей невѣстѣ, что она дѣвица, соблюдающая себя. Такихъ-то, что и мнѣ, и каждому встрѣчному на шею вѣшаются, много. Моя-съ не такая. Вонъ я къ нимъ на праздники ночевать ѣзжу, такъ вы думаете, она въ какое-ни-

будь вольное обращеніе со мной входитъ? Ни чуть-съ! Совсѣмъ даже напротивъ. На такую-то, съ которой дѣлай, что хочешь, я и не распалился бы, потому что это какая же тутъ можетъ быть любовь? Да мнѣ дяденька съ тетенькой и не позволили бы взять жену предразсудительнаго поведенія. Это чтобы пальцами-то всѣ тыкали? Нѣтъ-съ, ужъ пусть другимъ дегтемъ-то ворота мажутъ, а не намъ.

Онъ говорилъ теперь не безъ достоинства и принялъ гордый видъ. Мнѣ захотѣлось его подразнить, и я сказалъ:

— Да, а вотъ какъ женитесь, да жена-то вдругъ и загуляетъ, тогда что?

Онъ вспыхнулъ и разгорячился.

— Съ чего же-съ это ей загулять? Достаточно въ нашихъ на насъ хватить, я человекъ характера веселаго и не тиранъ какой-нибудь, притомъ же молодъ я и въ полной силѣ, потому что я себя соблюдаю. Такимъ-съ мужемъ каждая жена будетъ много довольна. Съ чего же ей другому-то на шею вѣшаться? А тоже, если какой озорникъ, бываютъ такіе нахалы, подѣзжать станеть, такъ я-съ — комикъ-ко-

микъ, а скулы тоже своротить на сторону сумбю...

Онъ весь раскраснѣлся отъ волненія, на его кругломъ лбу заблестѣли капли пота. Меня разбиралъ смѣхъ.

— Ну да, толкуйте, — продолжалъ я его дразнить:— а вотъ станете хмелемъ зашибаться, какъ вашъ дядюшка...

Онъ перебилъ меня обидчивымъ гономъ:

— Мой дяденька не пьяница. Это что я вамъ рассказывалъ давеча, какъ онъ третьяго дня подкутивши вернулся, такъ это отъ веселія сердечнаго. Это со всякимъ можетъ случиться. Я самъ иногда подкучу, такъ это что же? Только веселости придаетъ, колѣнца откальываешь, веселишь всѣхъ. Пьянство-сь, по моему мнѣнію, это отъ горя бываетъ и при малодушествѣ. Говорятъ вотъ тоже, портятъ людей. Такъ это тѣхъ, на кого враги есть. А какіе же у меня могутъ такіе враги быть? Я людей люблю, и меяа люди любятъ. „Вася! Вася!“ всѣ такъ меня и зовутъ, потому у меня душа чистая, добрая. Я никому-сь обиды не сдѣлаю, и мнѣ никто, нравъ у меня веселый. Живи и на міръ радуйся!..

Его лицо вдруг приняло выражение умиленія. Онъ обернулся къ окну и засмотрѣлся на широко раскинувшіяся зеленыя поля. Я вдругъ понялъ, что онъ дѣйствительно живетъ и радуется на все въ мірѣ, начиная съ этихъ тощихъ полей и кончая своими коротенькими брючками.

— Хорошо-съ жить на свѣтѣ! — сладко проговорилъ онъ съ глубокимъ вздохомъ.

И прежде чѣмъ я успѣлъ что-нибудь сказать въ отвѣтъ, онъ вдругъ засуетился и заерзалъ на мѣстѣ.

— Сейчасъ пріѣдемъ, сейчасъ пріѣдемъ! — заговорилъ онъ, высовываясь въ окно. — Вотъ Замысловскія барышни! Отецъ Иванъ тоже! Куда это собрались? Ужъ не въ Москву ли? Вотъ потѣха.

Казалось, онъ былъ готовъ отъ нетерпѣнія выскочить изъ окна. Едва остановился поѣздъ, какъ коротенькія брючки замелькали на платформѣ. Сначала юноша бросился къ франтовато-одѣтому, важно смотрѣвшему старику-священнику. Тотъ, благословивъ его склоненную голову, подставилъ ему къ губамъ руку, и, что-то говоря, благосклонно по-



трепаль его по щекѣ. Затѣмъ еще болѣе просіявшій юноша, осчастливленный поповскимъ благословеніемъ и ласкою, подлетѣль къ Замысловскимъ барышнямъ, и до меня донесся звонкій, звонкій смѣхъ здоровыхъ молодыхъ голосовъ.

Счастливыцы!..

# Х

## Мой дядя Тарасъ Григорьевичъ Шаповаленко

На-дняхъ совершенно неожиданно я получилъ длинное посланіе отъ своего дяди, Тараса Григорьевича Шаповаленко. Я не думалъ вовсе касаться его въ своихъ «милыхъ бездѣльникахъ», но добродушному старику вдругъ вздумалось просить меня причислить и его къ ихъ милому обществу. Повинуясь его волѣ и въ то же время не желая говорить о немъ отъ себя, я просто рѣшился напечатать его письмо. Оно настолько подробно объясняетъ его жизнь, что никакихъ дополненій къ нему съ моей стороны, кажется, не требуется. Вотъ это письмо малоросса въ переводѣ на русскій языкъ; я выпускаю изъ письма только нѣсколько чисто семейныхъ и интимныхъ подробностей о домоправительницѣ дяди, Дарѣ Марковнѣ:

«Милый мой Сашура!

„Прочелъ я, голубчикъ, твоихъ „милыхъ бездѣльниковъ“, прочелъ и умилился. Хоро-

шая тебѣ мысль пришла въ голову обличать насъ въ нашемъ бездѣльничаньѣ, хорошая. Ты вотъ въ письмѣ ко мнѣ сътуешь, что исполненье-то у тебя иногда прихрамываетъ, что недомолвокъ у тебя много, — такъ вѣдь это дѣло понятное, Сашурочка: писанье-то для тебя дѣло новое, самъ ты прежде сочинителемъ никогда не былъ и въ роду у насъ тоже сочинителей никогда не было, ву, вотъ оно и понятно, коли что не такъ вышло. А мысль хорошая! Воѣ мы бездѣльники, и потому насъ и обворовываютъ, потому и порядки у насъ въ хозяйствѣ плохіе, потому и жида на насъ насѣли. Охъ, какъ насѣли-то, такъ это и уму непостижимо! А отчего? Оттого, что мы бездѣльники, а они дѣльцы! Вотъ скажу хоть про себя. Я вѣдь тоже бездѣльникъ, и просто удивительно, какъ это ты меня-то, дяденьку-то своего, до сей поры не описалъ. Можетъ-быть, думалъ, что обидишь старика? И полно! На людяхъ и смерть красна. Бездѣльникъ я, какъ и всѣ мы бездѣльники, ну, и обличай, и обличай! Такъ мнѣ, старому грѣховоднику, и надо! Я вотъ тебѣ самъ и матеріалець дамъ и данныя подберу, а ты та-

мъ обдѣлывай, какъ тамъ это по-вашему слѣдуетъ для публики, и пропечатывай, пусть у насъ въ Даниловкѣ, да и во всей Харьковской губерніи знаютъ, каковъ человекъ я есмь и почему на меня, Тараса Григорьевича Шаповаленка, жида насѣли. Писать-то вотъ только я, Сашура, не мастеръ, совсѣмъ не мастеръ, все въ сторону уклоняюсь, вотъ какъ нашъ кривой Гнѣдко — помнишь? — чуть, бывало, поводья опустишь, а онъ и станетъ забирать все вправо, да вправо и непременно угодить въ канаву. Ну, да что говорить о Гнѣдкѣ — и его жида за какой-то долгъ у меня взяли, — ужъ на что ледащая была лошаденка, а и ту взяли! Ужъ лучше я, голубчикъ, начну о себѣ и начну ab ovo, какъ говорили древніе риторы.

Батяка мой, Григорій Даниловичъ Шаповаленко, царство ему небесное, — ты-то его не помнишь, — жилъ уже на покоѣ въ нашей Даниловкѣ, когда я на свѣтъ Божій выглянулъ. Не могу я тебѣ доподлинно сказать, занимался ли онъ когда чѣмъ-нибудь или нѣтъ. Помню я только, что онъ въ мое время жилъ всегда на покоѣ, сосеть, бывало, свою люль-

ку-носогрѣйку, сидить, либо въ хатѣ, либо у хаты, да думу думаетъ, и запеканку потягиваетъ, рубаха на немъ виситъ, усы висятъ, волосы тоже на лобъ свисли, ну, ногъ точно его сейчасъ водой окатили, да такъ и застылъ онъ. Матушка, покойница, Авдотья Максимовна, придетъ, бывало, жалуется ему на работниковъ, либо на сосѣдей, а онъ только рукой махнетъ. „А мухи ихъ ѣшь!“ только отъ него и услышишь. Ни до чего-то ему дѣла не было, точно онъ одинъ на бѣломъ свѣтѣ былъ и для того и жилъ, чтобы свѣтъ Божій созерцать, да молча имъ любоваться. Только въ одномъ онъ и сходилъ съ матушкой — въ сознаніи, что мы не какіе-нибудь мужики и холопы, а дворяне. Ради самаго этого дворянства меня и грамотѣ обучили, и въ писцы въ городъ пристроили, а не поставили за соху или борону, да не отдали въ ученье къ сапожнику или кузнецу. Не дворянское, видишь ли, дѣло землю пахать или тамъ портняжить, что ли, а бумагу марать, чернымъ по бѣлому выводить — это какъ есть дворянское занятіе. Ну, и сталъ я строчить бумаги въ городѣ, треплясь ежедневно въ должность, то по пы-

ли, то по грязи. Тяжела мнѣ была, Сашурочка, спервоначалу эта самая служба, юнѣ я былъ очень, на хуторѣ къ волѣ да природѣ привыкъ, въ садѣ да къ рѣкѣ меня тянуло, на травѣ, либо на пескѣ, брюхомъ вверхъ, заложивъ руки подъ голову, погрѣться на солнышкѣ мнѣ хотѣлось, потому что я хотя и дворянскаго происхожденія былъ, а росъ не хуже любого мужицкаго мальчишки, безъ призору, на вольной волюшкѣ. А тутъ иди въ должность, да сиди до урочнаго, часу, да строчи эти проклятыя, чтобъ имъ пусто было, бумаги, отношенія, да доношенія, отписки, да переписки. Пишешь это, бывало, пишешь о разныхъ „утереніяхъ“, да „утонутіяхъ“, да „умертвіяхъ“, и ничего-то не понимаешь, читать станешь написанное, такъ языкъ не ворочается слова-то эти мудреныя выговорить. И кто это, чтобъ ему на томъ свѣтѣ поперхнулось, языкъ этотъ тогдашній канцелярскій выдумалъ; отъ одного его туманъ, бывало, въ головѣ стоитъ, какъ отхватаешь въ день бумага десятковъ или два; ровно очумѣешь, когда на волю вырвешься послѣ рабочаго дня. А дней-то этихъ, Сашурочка, много было въ два-

дцать-то пять лѣтъ. Сосчитать-то вотъ ихъ никакъ не удосужусь, а то, должно-быть, много бы насчиталось, много, голубчикъ. Теперь, какъ взгляну это я мысленнымъ окомъ назадъ, такъ жутко даже станетъ, какъ это, моль, я изловчился двадцать пять лѣтъ изодня въ день въ канцелярію ходить и все одно и то же, одно и то же строчить! Чернилъ-то сколько пролилъ, бумаги-то сколько измаралъ, перьевъ-то сколько перечинилъ — тогда, Сашурочка, еще гусиными перьями-то писали, стальныхъ-то не было — и на что все это, на что? Много насъ тамъ такихъ-то, какъ я, было, — и всѣ-то мы строчили и строчили: сдѣлайте отписку, говоритъ начальство, ну и дѣлаемъ по заведенной формѣ, а намъ на эту отписку новое отношеніе шлютъ, а начальство опять отписку велитъ дѣлать, и опять мы по формѣ строчимъ: „на отношеніе за номеромъ такимъ-то...“ Канитель, канитель одна была, видитъ Богъ! Дѣла-то въ тѣ времена не такъ, какъ теперь, дѣлались, иное дѣло двадцать лѣтъ тянулось: оно лежитъ, а мы только отписываемся о немъ. Извѣстно, кляузное время было! И говорю тебѣ, Сашурочка,

какъ попу на исповѣди, двадцать пять лѣтъ я доносилъ, отписывался и относился, а и по сую пору не знаю, о чемъ я доносилъ, на что отписывался, для чего относился. Или не моего ума это дѣло было, или ужъ и точно только бумагу мы изводили, да какъ бѣлки въ колесѣ бѣгали — бѣгали-бѣгали, а все на томъ же мѣстѣ оставались. Послѣ, какъ насъ за штатомъ десятками оставлять начали, дѣла-то и безъ насъ своимъ порядкомъ пошли, и ничто не остановилось отъ нашего удаленія. Вотъ, значить, какіе, мы нужные-то люди были. И вѣдь смѣхъ сказать, чины мнѣ за мое бездѣльничанье своимъ порядкомъ шли, хоть и самъ я зналъ, что вовсе я къ этому дѣлу не приспособленъ и вникнуть въ него не могу, и понять его, какъ слѣдуетъ, не умѣю. Другіе, тѣ, можетъ-быть, и понимали, что и для чего они пишутъ, и этимъ понятіемъ даже домъ себѣ нажили и лошадей завели, а я, бывало, пишу-пишу, а передъ глазами наша Даниловка встаетъ, пѣсня въ ушахъ звенить, вижу, какъ рѣчка подъ садомъ нашимъ плещется, а тамъ даль безконечная синѣтся, и птицы въ поднебесья верени-



цей тянутся — куда? — на югъ или на сѣверъ? къ зимѣ или къ лѣту? Защемить, защемить, это, сердце, въ глазахъ стоятъ слезы, на бумагу брызнуть... пиши сызнова доношеніе!

Скажешь ты, Сашурочка: „Зачѣмъ же служили, если неспособны служить были?“ Не суди, голубчикъ ты мой, старика, не суди! Возьми ты одно то, что въ наше время не то было, что въ ваше. Ваше время, можетъ-быть, и лучше нашего, а все-таки скажу я тебѣ, что одинъ грѣхъ лежитъ на васъ великій: старшихъ вы не уважаете, да не слушаете. Ты меня прости, родной мой, а укоръ этотъ по справедливости я дѣлаю. Вы-то, молодежь-то нынѣшняя, все въ свой носъ дуете, а въ наше время — не то въ наше время было, стариковъ-то въ наше время почитали, меня вонъ батяно мой за вихоръ до тридцати лѣтъ дралъ. Ну, такъ вотъ, говорю я, батяно-то мой не соглашался, чтобы я службу бросилъ и все приказывалъ служить, пока до большихъ чиновъ не дойду. Оно, конечно, я самъ-то зналъ, что никакихъ такихъ большихъ чиновъ я не заслужу по моей неспособности и малоумію, а прекословить не смѣлъ — ни, Боже мой! Те-

перъ возьми другое: хорошо ли, худо ли, а прокармливался я этою самою службой въ городъ; правда, платишко чуть съ плечъ не валилось, жилъ въ конурѣ, ѣлъ въпроголодъ, а все же существовалъ на свои средства, такъ какъ и жалованье получалъ, и приношеніями отъ добрыхъ людей обойденъ не былъ; въ Даниловкѣ же и безъ меня ртовъ не мало было тогда и кормиться было трудно, такъ не въ лицу мнѣ было еще садиться батькѣ да маткѣ на шею своею персоною. Ты скажешь, что я въ хозяйствѣ могъ бы лишняго работника замѣнить. Такъ, такъ, Сашурочка, да вѣдь я же тебѣ говорилъ, что работать-то въ полѣ я пріученъ не былъ, въ сельскомъ-то хозяйствѣ я столько же понималъ, сколько въ доношеніяхъ. Оно, конечно, выучиться могъ бы я — въ молодости всему выучишься, если захочешь, — ну, да кто же мнѣ позволилъ бы учиться-то, хозяйство-то забрать въ свои руки при жизни батьки и матки? А вѣдь чтобы плавать выучиться — нужно сперва въ воду окунуться. Такъ-то вотъ я и протянулъ лямку свою двадцать пять лѣтъ, точно въ острогѣ просидѣть, и когда батько

мой померъ — царство ему небесное! — почувствовалъ я, что отворилась дверь моей темницы, что вольнымъ казакомъ я сталъ, что могу я летѣть на всѣ четыре стороны, — а силы-то, а крыльевъ-то и не оказалось! въ двадцать-то пять лѣтъ все отпало — и молодость, и прыть, и силы, и охота, одно только и осталось — желаніе лечь и отдыхать, долго отдыхать, вплоть до самой могилы отдыхать. „Отъ какихъ такихъ трудовъ великихъ отдыхать?“ спросишь ты, голубчикъ. „Что наработали-то вы въ эти двадцать пять лѣтъ?“ Ничего не наработалъ, ничего не сдѣлалъ, въ бѣличьемъ колесѣ вертѣлся, а отдыхать отъ тюремнаго бездѣлья нужно было.

Такимъ-то я, Сашурочка, человѣкомъ въ свою Даниловку на житье попалъ на сороковомъ году жизни, и точно я ребенкомъ сталъ, точно я впервые свѣтъ Божій увидѣлъ, такое ликованіе въ моей душѣ было. Господи ты, Боже мой, какъ бѣлый-то свѣтъ хорошъ кажется, когда человѣкъ свободы добьется, когда у человека родной клочъ земли есть, когда человѣкъ можетъ, славословить Господа! Сълъ я это у своей хаты на порогѣ, кругомъ та-

къ тихо, солнце въ безоблачномъ небѣ на покой ложится, вдали гдѣ-то коровы мычатъ протяжно, кто-то пѣсню такую заунывную, да такую сердечную поетъ, въ воздухъ тепломъ вѣетъ, — и склонилъ я свою сѣдьющую голову на руки и заплакалъ, какъ ребенокъ малый заплакалъ да такими не горькими, а сладкими, тихими слезами, точно говорилъ я безмолвно: „Благодарю тебя, Господи, за освобожденіе отъ плѣненія, отъ рабства египетскаго! Благодарю за возвращеніе въ страну, мнѣ тобою обѣтованную!“ Не смѣйся, что я, сорокалѣтній дурень, слезы на порогъ родного дома проливалъ! Ты бы, можетъ-быть, и не заплакалъ на моемъ мѣстѣ, ну, да, вѣдь вы другіе люди, закалъ у васъ другой, сердца благовоспитанныя, а мы — мы, вѣрно, изъ простой глины простыми руками вылѣплены.

„А впрочемъ, и то сказать, какъ и не смѣяться надъ нами, дурнями! Вотъ хоть бы и надо мною, какъ не смѣяться, когда я-то плакалъ слезами умиленія при видѣ родной земли, а жида въ это время, соки ея, кровь ея высасывали. Я-то любовался, какъ хлѣбъ въ полѣ колосится, а они его на корню скупали;

я-то пѣсенъ мужицкихъ заслушивался, а они этихъ мужиковъ въ своихъ шинкахъ спаивали; я-то отдыхомъ желаннымъ наслаждаться хотѣлъ, а они мнѣ на отдыхъ деньги въ долгъ за проценты да съ неустойками ссужали; я-то ихъ съ презрѣніемъ жидами звалъ, а они мнѣ въ поясъ гнулись, полы моей одежды цѣловали, руки мнѣ лизали да въ свои сѣти меня въ это время запутывали! Очнулся я, когда почти вся земля перешла въ аренду къ жидамъ, когда противъ моего хутора жидъ шинокъ выстроилъ, когда поганая рожа шинкаря жидовскаго Мошки Гиршеля стала торчать по цѣлымъ днямъ противъ моихъ оконъ. Опомнился я и задумался: точно ли я люблю эту родную землю, которую я жидамъ за грошъ продалъ? Такъ ли любить-то ее надо? Долго я думалъ, долго я присматривался къ жизни мужиковъ нашихъ, къ жизни сосѣдей — тоже кто въ чиновникахъ не по своей волѣ въ лучшіе годы спину гнулъ, кто въ полку не по своему призванію шагистикой занимался, кто такъ себѣ, мѣста нигдѣ не найдя, по свѣту въ молодости мотался, — и вездѣ-то то же я видѣлъ: любимъ мы свою землю,

держимся въ родномъ гнѣздѣ до послѣдней возможности, какъ совы, на шагъ не отлетимъ отъ своего дупла, если можно, а жидамъ все за грошъ отдаемъ, какъ півовокъ, ихъ къ этой землѣ припускаемъ, чтобы пили они ея лучшіе соки, ея лучшую кровь. Что же это такое? Дураки мы, что ли? Фарисействуемъ мы развѣ, говоря о своей любви къ родной землѣ? Задавалъ я себѣ эти вопросы, а отвѣта найти не могъ, да вотъ теперь подвернулись мнѣ подъ руку твои «милые бездѣльники», и подумалось мнѣ: «А ужъ не оттого ли это все и происходитъ, что и мы всѣ — бездѣльники? Не оттого ли все это творится, что мы бездѣльничаемъ, а жидаы какіе-нибудь дѣла дѣлаютъ? Думалъ я это, думалъ и собрался вотъ, голубчикъ, тебѣ это письмо написать. Пусть, молъ, думаю, и насъ, Тарасовъ Григорьевичей Шаповаленко, къ своимъ милымъ бездѣльникамъ присообщить да пропечатать про наше житье-бытье, авось кому-нибудь и стыдно станетъ. А можетъ-быть, ты на насъ, старыхъ лежебоковъ, и вниманія-то не обратишь, скажешь: „И подѣломъ вамъ, бездѣльники, если умные да дѣятельные

евреи на васъ насѣли!“ Что-жъ, какъ знаешь, такъ и суди, только объ одномъ тебя прошу, Сашурочка, разрѣши ты мнѣ одинъ вопросъ: „Что мы всѣ милые бездѣльники — это ужъ такъ, вѣрно, и есть, но скажи ты мнѣ: отчего это мы бездѣльниками-то стали?“ Покою мнѣ этотъ вопросъ теперь не даетъ, сосу я это свою трубочку, попиваю вишнебочку — Дарья Марковна, моя домоправительница, такъ ее дѣлаетъ, что во всей губерніи лучшей не найдешь — и все думаю: „и отчего это мы бездѣльниками стали?“ Думаю, думаю, да такъ и задремлю къ вечеру, не додумавшись до отвѣта.

Ну, не взыщи съ старика, голубчикъ, за надоѣдливую болтовню, а настанетъ весна — соберись въ наши Палестины, рай у насъ земной, умирать не надо, если бы все это наше было, а не арендованное жидами.

Твой дядя

Тарасъ Шаповаленко».

Къ сожалѣнію, я не могу дать отвѣта на вопросъ дяди, и самъ, подобно ему, спрашиваю: «и отчего это мы бездѣльниками стали?» Пусть отвѣчаютъ другіе.

# ХІ

## На кладбищѣ

Въ одномъ изъ модныхъ петербургскихъ салоновъ собралось довольно большое общество. Хозяева салона были вліятельные люди; поэтому въ теченіе всего зимняго сезона каждый четвергъ къ нимъ собиралось десятка три или четыре гостей, мужчинъ и женщинъ, молодежи и стариковъ, поговорить о погодѣ, о театрѣ, о политикѣ, о новостяхъ дня.

Отправиться на одно изъ этихъ собраній — значитъ обречь себя на два, на три часа нестерпимой скуки. Тѣмъ не менѣе, цѣлая масса людей бываетъ на нихъ. Однимъ нужно встрѣтиться здѣсь съ «случайными» людьми, иногда, просто показать себя; другимъ некуда дѣваться, и они, боясь скучать одиноко, ѣдутъ скучать на народѣ, помня, что на людяхъ и смерть красна. Посѣтители разсаживаются маленькими группами, слоняются изъ комнаты въ комнату, разсматриваютъ всѣмъ извѣстные кипсеки и альбомы, перекидываются не интересными ни для кого фраза-



ми и все время какъ будто чего-то томительно ждутъ. Они и точно ждутъ — того часа, когда можно, нег нарушая приличіе, незамѣтно ускользнуть изъ этихъ гостиныхъ на чистый воздухъ, куда-нибудь въ болѣе веселую компанію, въ ресторанъ, въ маскарадъ, домой, наконецъ. Только иногда какое-нибудь «событіе» оживляетъ эту безцвѣтную и бесплодную скуку: вчерашнее съ эффектомъ совершенное самоубійство, сегодняшній новый роскошно поставленный балетъ, тревожныя вѣсти о какомъ-нибудь голодающемъ уѣздѣ, новыя опустошенія, произведенныя гдѣ-нибудь въ далекой провинціи дифтеритомъ, новоприбывшій медіумъ-спиритъ, заставляющій ходить и плясать мебель, — все это, подоспѣвъ во-время, вноситъ нѣкоторое оживленіе въ разговоры, покуда не надоѣстъ, какъ нескончаемая сказка «о бѣломъ бычкѣ» и не сдѣлается «общимъ мѣстомъ». Тогда въ салонѣ опять воцаряется скука до новой новости.

Переступивъ порогъ салона, я сразу понялъ, что на этотъ разъ у скучающаго общества есть спасительная новость, — понялъ это по

оживленію, охватившему одну изъ первыхъ попавшихся мнѣ группъ разговаривавшихъ мужчинъ. Говорили два высокіе статскіе господина во фракахъ, съ фізіономіями чиновниковъ особыхъ порученій. У обоихъ были длинныя ноги, точно эти господа были предназначены природой къ должности скороходовъ, у обоихъ были длинныя, подвижныя шеи, точно спеціально приноровленныя къ тому, чтобы они могли всюду совать свои носы, вездѣ подставляя свои уши, во всѣмъ обращать свои уста для сообщеній и докладовъ.

— Слышали вы новость? — съ жаромъ говорилъ одинъ.

— Новость? — торопливо спрашивалъ другой. — Какую новость?

— Русина умерла!

— Русина? Что вы!

— Да, да!

— Не можетъ быть!

— Фактъ!

— Пустяки, слухи, сама распустила! Надо же, чтобъ говорили!..

— Я же васъ увѣряю!

— Да вамъ кто сообщилъ?

— Я самъ былъ у нея. Лежитъ на столѣ...

Отрывочный разговоръ на минуту оборвался. Далѣе сомнѣваться было невозможно. Сообщившій новость заговорилъ первый:

— Еще за недѣлю тому назадъ, вы помните, мы были съ балетъ и восхищались этой сильфидой... И вдругъ!

— Это страшная потеря! Что же станется съ несчастнымъ балетомъ?

— Незамѣнимая потеря! да, я смѣло говорю: незамѣнимая! Кѣмъ ее замѣнить? Я перебиралъ всѣхъ и не могу представить, кого назначать на ея мѣсто.

— Вотъ-то обрадуется Анучина! Онѣ вѣдь были на ножахъ...

— Анучина — выдра!

— А протекціи-то? Она, батенька, содержанка такого туза... Она всю жизнь преслѣдовала Русину...

— Ну, и та спуску не давала. Но главный вопросъ въ томъ, что ее не скоро замѣнишь...

Разговаривавшіе о неожиданной утратѣ господы стали перебирать фамиліи всѣхъ балеринъ, могущихъ стать на мѣсто Русиной, точно рѣшая государственный вопросъ. Они

пришли къ заключенію, что ни у одной изъ балеринъ нѣтъ «этой пластичности, этой элеваціи, этой мимики, этой поэзіи». Собесѣдники говорили такъ оживленно, жестикулируя, хватая другъ друга за пуговицы фраковъ, за жилетныя цѣпочки, возвышая голоса, что около нихъ образовалась небольшая кучка слушателей.

Я прошелъ далѣе отъ этихъ милыхъ бездѣльниковъ, говорившихъ о милыхъ бездѣлицахъ, и тотчасъ же до моего слуха долетѣли новые толки о томъ же предметѣ. Тутъ говорили о смерти Русиной старикъ-статскій и юноша-гвардеецъ. Старикъ съ обрюзгшимъ лицомъ, съ желтовато-сѣдыми бакенбардами, висѣвшими внизъ, какъ растрепанное мочало, съ холодными выцвѣтшими глазами, былъ высокъ, широкоплечъ и толстъ; на немъ была широкая фрачная пара, какъ бы висѣвшая на этомъ колоссальномъ обвисломъ тѣлѣ. По небрежному, хотя и дорогому костюму, по измятому, обрюзгшему, изжелта-блѣдному лицу, по холодному выраженію стеклянныхъ глазъ, по нѣскольکو брюзгливому и насмѣшливому

тону хриплаго голоса въ немъ легко было узнать стараго барина-жуира, широко пожившаго, спуская наслѣдственные капиталы и крестьянскіе оброки. Стоявшій передъ нимъ голубоглазый бѣлокурый офицеръ съ типичнымъ лицомъ остзейскаго нѣмчика изъ породы умѣренныхъ и аккуратныхъ, былъ высокъ и тощъ, холодень и сухъ; онъ производилъ впечатлѣніе только-что вычищенной, выскобленной и отполированной деревянной маріонетки въ офицерскомъ мундирѣ.

— Бѣдный князь Горичъ, онъ совершенно неутѣшенъ, — сипло говорилъ пожилой господинъ во фракѣ равнодушнымъ тономъ, не соотвѣтствовавшимъ смыслу словъ.

— Она весьма дорого ему встала, — отвѣтилъ старику молодой нѣмецъ тономъ-благовоспитаннаго мальчика, порицающаго шалость другого неблаговоспитаннаго мальчика.

— Развѣ женщина когда-нибудь можетъ слишкомъ дорого стоить и притомъ такая женщина? — брюзгливо сказалъ старикъ, мѣряя его холодными глазами. — Вообще, что доставляетъ удовольствіе, то никогда не сто-

ить слишкомъ дорого... Кромѣ того, это была прочная связь, князь не смотрѣлъ на нее, какъ на случайную любовницу.

— У нея были романы и до него, — неодобрительно замѣтилъ офицеръ.

— Что же изъ этого? Романы? У кого же ихъ нѣтъ? У ребятъ, еще не отнятыхъ отъ груди кормилицы? Павлы и Виргиніи живутъ не въ европейскихъ столицахъ девятнадцатаго вѣка.

— Но... — началъ-было офицеръ, но старикъ тѣмъ же брюзгливымъ и пренебрежительнымъ тономъ перебилъ его:

— Но въ послѣднее время ея жизнь, славилась даже вполне по-семейному. У нея было много прекрасныхъ качествъ. Мы всѣ бывали у нея, какъ...

— Это, кажется, изъ-за нея застрѣлился графъ Друцкой? — не безъ задней мысли и не безъ ехидства спросилъ офицеръ.

Старикъ посмотрѣлъ на него въ упоръ холодными стеклянными глазами, какъ смотрятъ старыя большія собака на лающего щенка.

— То есть какъ это изъ-за нея? Я васъ не

понимаю! Какъ изъ-за нея? Стрѣляются всегда сами изъ-за себя, а не изъ-за кого-нибудь другого. Графъ вздумалъ ухаживать за ней, сошелся съ ней и въ два года надѣлалъ столько долговъ, что оставалось только пустить пулю въ лобъ.

— Надѣлалъ долговъ изъ-за ея прихотей...

— Да почему же она знала, что она имѣетъ дѣло съ титулованнымъ нищимъ? Или вы думаете, что онъ ей рассказывалъ во время ихъ сближенія о своемъ пустомъ карманѣ; о своихъ подложныхъ векселяхъ?

По лицу старика пробѣжала презрительная усмѣшка.

— Я думаю вообще, что человѣкъ долженъ винить только самого себя, когда онъ погибаетъ отъ того, что, имѣя въ карманѣ только грошъ, хочетъ обѣдать у Бореля, сидѣть въ первомъ ряду въ театрѣ, держать и рысаковъ, и любовницъ изъ балета...

Онъ снова усмѣхнулся.

— А потомъ, баронъ, среди насъ, русскихъ, есть много людей, и къ числу ихъ принадлежалъ графъ Друцкой, которые лучше согласятся взять хоть на одинъ день у жизни все,

чѣмъ цѣлый вѣкъ, желая чѣмъ-нибудь насладиться, спрашивать, что стоитъ это наслажденіе, и пересчитывать въ своемъ карманѣ гроши, чтобы сообразить, хватитъ ли денегъ на это наслажденіе. Теперь, впрочемъ, въ нашъ вѣкъ расчетливости и аккуратности такія натуры вырождаются, и люди, прежде чѣмъ броситься въ объятія любимой женщины, хватаются за счеты и прикидываютъ, что она будетъ стоить...

— А дѣлать безумства, совершая для этого подлоги, лучше?

— Да, лучше, чѣмъ совершать подлоги, даже и не дѣлая безумствъ.

Старикъ усмѣхнулся.

— Или вы думаете, что эти рассчитывающіе, взвѣшивающіе аршинники до подлоговъ-то не додумались?

Я не дослушалъ дальнѣйшихъ объясненій и прошелъ въ кабинетъ хозяина, гдѣ позволялось курить. Нѣсколько человѣкъ, собравшихся здѣсь, говорили наперебой, громко и оживленно, по-холостому, пользуясь отсутствіемъ женщинъ. Имя Русиной повторялось всѣми.



— У нея, помнится, были дѣти, много дѣтей, — замѣтилъ какой-то маленькій, совершенно лысый, сморщенный, какъ печеное яблоко, совсѣмъ беззубый старичокъ съ георгіевской ленточкой въ петлицѣ.

— Вы запомнили, ваше превосходительство, — перебилъ его юный разбитной офицерикъ изъ «фазановъ». — Одинъ ребенокъ, правда, былъ, когда она только-что поступила на сцену, но только одинъ. Это фактъ.

— То-то, то-то, я помню, мы еще подсмѣивались надъ ея тальицей... Помню!.. Помню!.. Хе-хе-хе!.. сама еще дѣвочка, бутончикъ, а тальица ужъ того... Хе-хе-хе! Я помню...

Старикъ засмѣялся тихимъ смѣхомъ, показавъ на минуту беззубыя десны, и снова быстро принялъ серьезный, приличный званію, видъ, втянувъ свои губы звѣздочкой въ ротъ.

— Это отъ Горича? — спросилъ кто-то.

— Ну, вотъ! Онъ ее тогда еще и не видалъ; онъ былъ тогда еще въ Пажескомъ корпусѣ, — слышался отвѣтъ офицера, юнаго полтамъ, но богатаго серьезными свѣдѣніями.

Лысый старикъ, моргая красными вѣками,

живо вмѣшался въ разговоръ:

— Нѣтъ, я вспомнилъ... вспомнилъ!.. Это отъ одного изъ актеровъ, отъ танцовщика Флерова... Это случилось еще въ школѣ... былъ скандалъ... его выгнали... Я вспомнилъ!.. У меня память...

— Ваше превосходительство, вы изволили смѣшать, — обратился къ старику тотъ же офицерикъ, очевидно знавшій все, касавшееся балета. — Флеровъ знакомъ былъ съ Наталиной... это съ ней былъ скандалъ...

— Ахъ, да, да, да! — воскликнулъ старичокъ, хлопая себя по лбу. — Съ Наталиной... Это съ той черненькой... Жердочкой еще ее звали... Помню... Помню!.. Какъ же! Большой былъ скандалъ!.. Да, у меня память хорошая...

— Русина имѣла ребенка просто отъ буфетчика, — раздался рѣшительный басъ, не допускавшій возраженій. — Я-то это отлично знаю.

Всѣ обратили вниманіе на разрѣшившаго сомнѣніе господина. Это былъ отставной военный изъ ремонтеровъ-дантистовъ, гигантскаго роста, съ большими, сильно начерченными усами и съ круглыми, налитыми кро-

вью глазами на выкатъ.

— Я ей тогда же говорилъ: «Дура, дура, своихъ интересовъ не понимаешь!» — продолжалъ онъ тѣмъ же грубымъ, какъ трубный звукъ, басомъ. — Она вѣдь была очень легонькой дѣвчонкой. Кто же изъ насъ ея не зналъ. Тоже и нищета. Буфетчикъ прикормилъ. Дура! Не могла выждать. Потомъ-то ужъ сообразила, гдѣ раки зимуютъ и, признаюсь, выжимала соки. Зато ужъ и сложена была...

— Это она на какомъ-то вечерѣ фигурировала въ видѣ Венеры Медицейской?

— Да, все затѣи покойнаго Друцкого.

— Она вскочила ему въ копейку.

— Ну, и натѣшилъ онъ зато надъ ней.

— Но гдѣ же ребенокъ? — слышался опять чей-то вопросъ.

— Что? Гдѣ ребенокъ? — грубо переспросилъ ремонтеръ. — Да гдѣ же обыкновенно бываютъ эти щенята: въ воспитательный домъ отдали. Тоже хорошо бы оставить: мать — голодная дѣвчонка; отецъ — забулдыга-буфетчикъ...

— Да, а теперь вотъ все богатство — выморочное имущество, — перебилъ со вздохомъ

какой-то тощій, какъ волкъ въ зимнюю пору, статскій съ жадными глазами хищника.

— Какъ выморочное? — гнѣвно воскликнулъ господинъ съ черными усами. — Какъ выморочное, спрашиваю я васъ? Что это значитъ: выморочное?

— Да у нея нѣтъ родныхъ...

— Чуть порете! Родные-съ всегда есть, когда есть наслѣдство... — рѣшилъ онъ грубымъ тономъ ярмарочнаго игрока-забіяки.

Лысый старичокъ оживился и тревожно затоптался на мѣстѣ.

— О-о! — заговорилъ онъ, захлебываясь. — Родные! родные! Они всегда налетятъ на наслѣдство!.. О-о! я знаю... знаю... ждуть, только умри!.. А она еще и не изъ порядочнаго общества... дочь кучера...

— Ваше превосходительство, опять запамятовали, — вмѣшался молодой офицеръ, специалистъ по балету. — Цыфрова — вотъ дочь кучера графа Струкова. А Русина — дочь солдата.

— Да, да, да! Вспомнилъ, вспомнилъ! — воскликнулъ лысый старичокъ и погрозилъ офицеру пальцемъ съ шаловливымъ

выраженіемъ. — Все знаетъ, все! У-у, далеко поидеть!..

И потомъ, принявъ торопливо серьезное выраженіе лица, прибавилъ:

— Удивительно талантливый народъ... то-есть это чернь наша...

— Ну, голь — вотъ и все! — рѣшилъ, точно отрѣзавъ, господинъ съ усами. — Извѣстно, нужда скачетъ, нужда пляшетъ, нужда пѣсенки поетъ...

Лысый старичокъ удивился и вытаращилъ на усача глаза, подобравъ съ глубокомысленнымъ видомъ въ ротъ свои губы.

— Вы думаете? — черезъ минуту спросилъ онъ. — Странно, странно!.. Это мысль!.. Очень оригинальная мысль!.. Я объ этомъ никогда не думалъ... Очень, очень странно!..

— Вотъ бы теперь ея брату была пожива, — небрежно проговорилъ офицерикъ.

— А у нея былъ братъ? — спросило разомъ нѣсколько любопытныхъ.

— Да неужели, господа, вы забыли этотъ скандалъ? — удивился офицеръ. — Въ балетѣ всѣ еще помнятъ его. Это въ позапрошломъ году было. Братъ Русиной, мальчишкой 18-ти

лътъ, уже судился за кражи. Потомъ это для нея былъ настоящей enfant terrible. Онъ, говорятъ, ее просто билъ какъ собаку.

— Онъ ее и буфетчику сосваталъ, — мрачно вставить усачъ, затягиваясь сигарой.

— Да? — спросилъ офицеръ. — Я этой подробности не зналъ. Странно!

— А я зналъ, — проворчалъ усачъ.

— Ну, да это не важно, — замѣтилъ офицеръ. — Но дѣло въ томъ, что онъ потомъ всюду дѣлалъ ей скандалы...

— Да онъ, можетъ-быть, былъ съ нею... — слышалось чье-то замѣчаніе.

— Нѣтъ, просто братъ, старшій братъ, ну, и ломался надъ нею. Наконецъ, дѣло дошло до того, что два года тому назадъ онъ судился за грабежъ и убійство. Это былъ замѣчательный типъ уличнаго бродяги, прошедшаго всю школу разврата и паденія. Три года онъ прожилъ буквально на мостовой, шлялся по міру, ходилъ почти голый, паспортъ даже кому-то продалъ...

— Соціалисту какому-нибудь, — рѣшилъ лысый старичокъ.

Офицеръ презрительно усмѣхнулся.

— И тутъ же вздумалъ еще влюбиться, съ чего и начались его усиленные кражи, подлоги, а потомъ — ту же самую любовницу и зарѣзалъ, изъ-за которой сталъ отъявленнымъ воромъ...

— Несчастливая Русина, — слышалось чье-то восклицаніе.

— Ну, она во время процесса была за границей, — пояснилъ кто-то небрежно.

— А-а! — раздалось успокоительное восклицаніе.

Меня начинаю коробить отъ этихъ толковъ о рано погибшей балеринѣ, объ этой женщинѣ, только-что закрывшей навѣки усталые глаза, еще не засыпанной могильной землей. Я оставилъ кабинетъ хозяина. Но скрыться отъ этихъ толковъ было некуда, о Русиной говорили во всѣхъ углахъ. Одни оплакивали рано погибшій талантъ, другіе цинично передавали сальные подробности о ея жизни, третьи рассказывали, какъ весела была она на послѣднемъ пикникѣ, гдѣ и схватила горячку, простудившись послѣ нѣсколькихъ бокаловъ замороженнаго шампанскаго. Побродивъ съ часъ по заламъ, я рѣшился ухъать, чтобы от-

дохнуть, забыться отъ всего слышаннаго мною. У меня кружилась голова, разстроились нервы, точно я битый часъ вертѣлся безъ устали въ бѣличьемъ колесѣ, оставаясь на одномъ и томъ же мѣстѣ и смотря, какъ издѣваются надъ неостывшимъ еще трупомъ. Но нагнавшіе на меня тоску толки не дали мнѣ покоя и на слѣдующее утро: всѣ газеты въ это утро наперерывъ толковали о Русинѣ, опять цѣлые столбцы заняты были разсужденіями о ея граціи, пластичности, элеваціи, мимикѣ, опять шли вздохи о незамѣнимой потерѣ, опять дѣлались болѣе или менѣ нескромные намеки на ея частную жизнь. Какой-то составитель некролога не удержался, чтобы не оповѣстить публику, что и онъ сподобился быть въ числѣ зрителей, любовавшихся, какъ плавала Русина, являвшаяся настоящей Наядой. На окнахъ эстампныхъ магазиновъ были разложены вѣрообразно, висѣли въ видѣ гирляндъ фотографическія карточки всѣхъ форматовъ, изображающія въ различныхъ откровенныхъ костюмахъ и въ различныхъ соблазнительныхъ позахъ одну и ту же красавицу, и надъ



всѣми этими карточками виднѣлась надпись: Русина, Русина, Русина... Эта смерть была событіемъ дня, отодвинувшимъ на послѣдній планъ, заслонившимъ собою всѣ другія обыденныя и неинтересныя событія въ родѣ предполагаемаго прекращенія работъ на какомъ-то заводѣ, гдѣ было до трехъ тысячъ рабочихъ, въ родѣ краха въ какомъ-то банкѣ, гдѣ хранились послѣднія крохи нѣсколькихъ сотенъ людей, въ родѣ повальной болѣзни, охватившей сразу десятки деревень въ одномъ и томъ же уѣздѣ, однимъ словомъ, въ родѣ всего того, что было буднично, что надоѣло всѣмъ, какъ «общее мѣсто».

Проѣзжая черезъ два дня черезъ Загородный проспектъ, я былъ задержанъ торжественной погребальной процессіей. Масса факельщиковъ, траурныхъ лакеевъ, пѣвчихъ въ черныхъ кафтанахъ, духовенства въ черныхъ ризахъ, роскошная погребальная колесница съ бѣлымъ газетовымъ гробомъ, покрытымъ золотымъ парчевымъ покровомъ, гирлянды живыхъ цвѣтовъ и лавровыхъ вѣнковъ съ черными и бѣлыми лентами, испещренными трогательными надписями «отъ почитате-

лей», «отъ товарищей», «незабвенной», «незамѣнимой», густая толпа разношерстнаго народа и длинная вереница каретъ, собственныхъ и наемныхъ, все это медленно прошло передо мной. Это везли на кладбище прахъ милой бездѣльницы Русиной...

И мнѣ вспомнились другія похороны...

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, въ одинъ изъ весеннихъ дней я тихо брелъ на кладбище, гдѣ спятъ вѣчнымъ сномъ дорогіе мнѣ покойники, гдѣ когда-нибудь придется отдохнуть и мнѣ... Въ одномъ со мною направленіи двѣ заморенныя клячонки, покрытыя полинялыми иззелена-рыжеватыми попонами, тащили убогія дроги. На дрогахъ стоялъ гробъ, обитый бѣлымъ коленкоромъ, окаймленный узенькими и жиденъкими серебряными позументами. Гробъ былъ покрытъ съезжившимся, вылинявшимъ и потертымъ покровомъ съ пестрыми букетами затканыхъ цвѣтовъ. Впереди шелъ какой-то мальчикъ въ женской кацавейкѣ, подпоясанной веревкой, съ повязанными пестрымъ платкомъ ушами; концы платка, поднимавшіеся надъ его головой, какъ ослиныя уши, то опускались, то

поднимались, качаясь подъ вліяніемъ вѣтра; мальчикъ несъ образъ, шлепая дырявыми сапогами съ отцовскихъ ногъ въ грязи. За гробомъ шли высокій, худощавый, сѣдой старикъ въ солдатской поношенной шинели и молодой парень изъ рабочихъ въ нѣмецкомъ платьѣ съ густыми вьющимися волосами, съ красивыми чертами лица. Старикъ брелъ понуро; молодой парень смотрѣлъ безцѣльно, мрачно, почти озлобленно впередъ...

Я зашелъ въ церковь, когда кончились уже и обѣдня, и отпѣваніе. Около стоявшихъ здѣсь гробовъ тѣснился народъ, раздавался плачъ дѣтей, проносились визгливыя причитанія женщинъ: «на кого ты насъ покинулъ, сиротъ горемычныхъ?» Самымъ крайнимъ стоялъ на простой черной скамьѣ бѣдный гробъ, обитый бѣлымъ коленкоромъ. Съ одной стороны около него стоялъ старикъ-солдатъ, опустивъ на грудь голову и всматриваясь въ лицо лежавшей въ гробу молоденькой дѣвушки; съ другой, почти перегнувшись черезъ гробъ, стоялъ парень-рабочій, — онъ взялъ обѣими руками голову покойницы и вглядывался въ черты ея лица, нагибаясь, отъ времени до

времени къ ней, приподнимая ея голову и цѣлуя ея въ губы, въ глаза. Тутъ не было ни слезъ, ни криковъ, ни причитаній, но мнѣ стало жутко смотрѣть на эту сцену, на движенія этой безжизненной головы: казалось, молодой парень хотѣлъ сотворить чудо и пробудить снова къ жизни этотъ безжизненный трупъ, а старикъ и не вѣрилъ, и вѣрилъ въ возможность этого чуда — и ждалъ.

Церковь уже опустѣла...

— Что же вы, — окликнулъ сторожъ старика и парня. — Пора выносить!

Они очнулись, засовались, заторопились, какъ бы сконфузились. И точно, чего же они? пора выносить, мертвые не воскресаютъ! Гдѣ крышка? Надо скорѣй завинтить...

Прошло три-четыре года, и я сталъ встрѣчать на кладбищѣ этого старика-солдата каждый разъ, когда мнѣ приходилось въ часы безысходнаго сплина спасаться отъ живыхъ людей сюда, въ это царство мертвыхъ. Онъ побирался Христовымъ именемъ. Понемногу мы познакомились, стали своими людьми. Могила его дочери была недалеко отъ куп-

ленного мною на кладбищѣ мѣста. Мы со старикомъ были, такъ сказать, «сосѣдями по имѣніямъ». Жить въ дружбѣ съ сосѣдями это одно изъ величайшихъ удобствъ. Мы такъ и жили: я называлъ его по фамиліи «Михеевымъ»; онъ величалъ меня «вашимъ благородіемъ»; я давалъ ему пятаки и гривенники; онъ оказывалъ мнѣ мелкія услуги. Мы не имѣли права жаловаться одинъ на другого и, вѣроятно, на томъ свѣтѣ, въ день послѣдняго гласнаго суда, не намъ придется вступить въ перебранку и уличать другъ друга въ какихъ-нибудь каверзахъ и подвохахъ...

Разговорился я съ Михеевымъ о его жизни совершенно случайно.

Это было въ чудный весенній день. Въ городѣ, въ царствѣ живыхъ, еще стояла грязь, пахло навознымъ тающимъ снѣгомъ, дома смотрѣли грязными и сырыми, непривычный грохотъ колесъ особенно раздражалъ слухъ. А тамъ, въ царствѣ мертвыхъ, уже стаялъ и куда-то ушелъ снѣгъ подъ горячими, ничѣмъ не стѣсняемыми, ничѣмъ не задерживаемыми лучами солнца. На могильныхъ насыпяхъ и на скатахъ канавокъ среди старой, сухой тра-

вы появлялась молодая сочная зелень. Торговки уже искали на могилкахъ первой крапивы на щи богачамъ. Кладбище, какъ извѣстно, кормить многихъ: то даетъ крапиву, то цикорный салатъ, то даже шампиньоны, которые, какъ говорила мнѣ одна монахиня, «на упокойничкахъ растутъ». Хорошая тутъ почва. Я шелъ и любовался возрожденіемъ природы. На деревьяхъ, насаженныхъ, быть-можетъ, руками тѣхъ, которые служатъ теперь тучной почвой для этихъ деревьевъ, наливались вѣтви и почки, и издали эти группы деревьевъ и кустовъ казались окрашенными то въ красноватая, то въ зеленуватая краски. На всѣхъ вѣтвяхъ слышалось суетливое немолчное чириканье и щебетанье птицъ, точно гдѣ-то, какъ говорить одинъ поэтъ, что-то жарится и шипитъ на гигантской кухнѣ. Я шелъ по мосткамъ, пробираясь къ своимъ могиламъ. Когда я подошелъ къ нимъ, я вспомнилъ, что забылъ ключъ отъ дверей рѣшетки, окружающей мои могилы. Я уже хотѣлъ идти отыскивать могильщика, когда ко мнѣ подошелъ Михеевъ, въ своей неизмѣнной длинной, потертой солдатской

шинели. Онъ снялъ фуражку съ своей покрытой серебристыми волосами головы и поздоровался со мной.

— Что, къ своимъ пришли, ваше благородіе? — спросилъ онъ.

— Да. Да вотъ ключъ забылъ взять у Власа, — отвѣтилъ я.

— Позвольте, я сбѣгаю, — сказалъ онъ.

Я усмѣхнулся.

— Ну, старина, не тебѣ ужъ бѣгать.

— Ничего-съ, я сейчасъ... Вы и не найдете его теперь. Онъ могилу копаетъ... Нынче покойниковъ страсть сколько... Я мигомъ...

— Ну, спасибо... Да ты не торопись... Я присяду здѣсь... Хорошо нынче здѣсь...

— Ужъ такъ-то хорошо, что и не ушелъ бы...

Онъ пошелъ. Я присѣлъ на ступени фундамента у рѣшетки и на минуту забылся, пригрѣтый солнцемъ. Минуть черезъ десять онъ вернулся съ ключомъ. Я далъ ему денегъ... Онъ набожно перекрестился.

— Хорошее мѣсто здѣсь, — сказалъ онъ. — Моя дочурка, изволите знать, вотъ тоже тутъ по близости схоронена.

Онъ указаль на зеленый холмъ, съ бѣлымъ крестомъ и зеленой, огородной.

— Мнѣ тоже отвели мѣсто... Въ рассрочку согласились... Выкланялся у отца Тихона, дай ему Господь здоровья... самъ вотъ и крестъ, и скамью, и рѣшетку смастерилъ...

— Ты, кажется, Михеевъ, чуть не живешь здѣсь...

— Гдѣ же мнѣ и жить, какъ не здѣсь... Только не жить бы, а лежать бы здѣсь надо, ваше благородіе...

Онъ тяжело вздохнулъ. Я отворилъ дверь рѣшетки и вошелъ къ себѣ за ограду.

— Ахъ, Власъ, Власъ, и не подмелъ сегодня сора, — сказалъ старикъ, глядя на мои могилы. — Замотались они совсѣмъ, могильщики-то... Я вотъ сейчасъ.

Онъ на минуту прошелъ къ могилѣ своей дочери, притащилъ оттуда метлу и началъ мести дорожки около моихъ могилъ.

— Проворенъ же ты, старикъ! — замѣтилъ я, смотря на его работу.

— Да, проворенъ, проворенъ, а мѣста нѣтъ... Старъ очень... Какъ скажешь года — никто и не беретъ... Не вѣрятъ, что еще слу-



жить могу... Вотъ и питаюсь подаяніемъ...  
Что-жъ, не отъ лѣни...

— А тебѣ сколько лѣтъ?

Онъ остановился и съ кроткой старческой улыбкой взглянулъ на меня.

— А сколько думаете, ваше благородіе?

— Право, не знаю...

— Парижъ бралъ, — отвѣтилъ онъ:— вотъ и посчитайте...

Я изумился.

— Полно!

— Право слово! Вотъ и контужень былъ тамъ въ голову.

Онъ снялъ фуражку и показалъ бѣлый шрамъ, пересѣкавшій вкось весь его загорѣлый лобъ.

— И въ руку контужень былъ, — продолжалъ онъ. — Лучше бы ужъ убили, да видно, такъ было Господу Богу угодно...

Я заинтересовался жизнью старика и сталъ спрашивать его о его жизни, пригласивъ его сѣсть на скамью. Онъ неторопливо домель аллею и присѣлъ, отирая проступившій на лбу пота. Онъ заговорилъ не спѣша, степенно и просто, такъ спокойно

разсказывая о своемъ прошломъ, какъ-будто говорилъ о жизни совершенно чужого, даже мало знакомаго ему человѣка. Выйдя въ отставку не молодымъ уже человѣкомъ, онъ женился и занялся башмачнымъ ремесломъ; жена его была поденщицей.

— Душа въ душу жили и, нечего Бога гнѣвить, не голодали. Только не продлилъ ей Богъ вѣку, — рассказывалъ онъ. — Черезъ десять лѣтъ умерла, а я остался со своей дѣвчуркой-дочерью... Шустренькая дѣвочка была; точно цвѣточекъ цвѣла. Самъ я одинъ и растилъ ее. Опредѣлился я дорожнымъ сторожемъ на Николаевскую желѣзную дорогу, съ самаго ея основанія, и ничего, — зажилъ со своей дочуркой. Жаловаться не могу, еще десятокъ лѣтъ не видалъ горя. Правда, не легко жилось. Кормиться было трудно. Не весело тоже было въ лѣсу, да и жутко по зимамъ было. А все же жили, огородишко кое-какой развели. Зимой, бывало, я башмачничаю, стряпней да стиркой, всякимъ бабьимъ дѣломъ занимаюсь, дѣточка играетъ тутъ же, лепечетъ, все это ей Расскажи да покажи, какъ и что. Бывало, начну, примѣрно, про походъ расска-

зывать, какъ мы француза били, а она: «А за что его, тятя, били?» — За то, говорю, что онъ русскихъ билъ. — «А, она говоритъ, за что русскихъ билъ?» — Потому, говорю, его императоръ Бонапартъ такъ велѣлъ. — «А, она говоритъ, зачѣмъ велѣлъ русскихъ бить?» — Это, говорю, дѣло не наше, а царское. — Занятная была дѣвчоночка. Лѣтомъ, бывало, копается со мной въ огородъ, завидитъ поѣздъ, и кричитъ: «Тятя, поѣздъ», а сама флагъ въ руки, сбѣжитъ къ полотну и стоитъ, путь поѣзду указываетъ. Помощница тоже!..

По старческому лицу скользнула такая усмѣшка, точно онъ въ душѣ переживалъ снова всю прелесть этихъ свѣтлыхъ дней жизни.

— Только разъ случись, во время заносовъ, всю ночь пришлось мнѣ въ снѣгу простоять, не впервой, кажись, а продрогъ я и, никогда этого со мной не бывало, слегъ да такъ и проболѣлъ, почитай что три мѣсяца. Тутъ-то я кончилось мое счастье. Отказали мнѣ отъ должности, потому и точно, какой же можетъ быть сторожъ дорожный шестидесяти лѣтъ да еще болящій. Перебрались мы съ дочуркой

опять въ Петербургъ, сталь я опять сапожны-  
мъ дѣломъ заниматься... Только ужъ руки бы-  
ли не тѣ, отъ морозовъ ли или отъ старости,  
только гибкости да проворства въ нихъ преж-  
нихъ не было... Ну, и пришлось моей дочуркѣ  
на два рта работать. А ей всего пятнадцать  
годковъ тогда было...

Старикъ вздохнулъ и смолкъ.

— Замужь-то развѣ не удалось выйти?

— Кто-жъ возьметъ, когда у дѣвушки на  
рукахъ отецъ, котораго кормить надо? Да къ  
ней и подступиться было не легко. Дичкомъ  
она въ лѣсу выросла, со мной ласкова, какъ  
голубь, а чужихъ людей боялась, это всѣхъ  
сторонилась. И то сказать, прежде одни жи-  
ли, а когда попала она въ Петербургъ,  
насмотрѣлась она на такихъ людей, что луч-  
ше бы ихъ и совсѣмъ не видать... Вы, ваше  
благородіе, не знаете, что за люди по подвала-  
мъ да по угламъ живутъ. Пьянство, дебошъ,  
драки, сквернословіе... На первыхъ же порахъ  
одна баба чуть не продала мою дѣточку одно-  
му купцу-лабазнику. Сироту погубить хотѣлъ,  
на красоту польстившись. Она вѣдь у меня  
загарышъ-загарышъ, а красавицей была,

извѣстно на вольной волѣ въ лѣсу выросла. И не будь моя дѣвочка дичкомъ или не явись къ ней этотъ купецъ въ пьяномъ видѣ, не напугай онъ ее своимъ безобразіемъ, и погибла бы; безпремѣнно погибла бы, потому что гдѣ-жъ дѣвочкѣ знать, что къ чему ведетъ. Богъ, всѣхъ насъ, сырыхъ, Заступникъ, спасъ. Честной осталась...

Онъ опять прервалъ разсказъ.

— Двадцать первый годъ ей пошелъ, когда вышло ей счастье, — продолжалъ онъ тихо, въ раздумьѣ. — Сосѣдъ у насъ работникъ былъ, въ рабочихъ на фабрикѣ служилъ. Года три онъ рядомъ съ нами жилъ и какъ придетъ съ работы, такъ къ намъ въ каморку. Сидитъ, разговариваетъ, мои розсказни слушаетъ, на мою дѣвочку посматриваетъ. Чуть закручинится она, онъ ей сейчасъ: «Не тужите, Марья Ивановна, скоро-скоро все перемѣнится». А она вскинетъ на него глаза и спроситъ: «Какъ?» — «А вотъ увидите, родная», — отвѣтитъ онъ и гладитъ ее по рукѣ. Таково все степенно, уважительно. Тихій, ласковый былъ парень. И понялъ я изъ его словъ, что онъ ждетъ только, чтобы его въ масте-

ра произвели. На линіи давно стоялъ, только управляющій немного косился на него, хоть и зналъ, что лучшаго работника на всей фабрикѣ нѣтъ. Голова не поклонная была, зато и косились. Ну, да косись не косись, а правда свое всегда возьметъ, не сегодня, такъ завтра должны были парня въ мастера произвести. Жениться онъ на моей дочуркѣ тогда хотѣлъ. И она это понимала. Бывало, чуть онъ запоздаетъ, она ужъ и всполохнется, затревожится, затревожится: «Что съ нимъ? Гдѣ онъ?» И мнѣ, бывало, говорить: «Вотъ, тятя, человѣкъ! Душа-то какая! Взглянетъ на тебя — вся она на ладони. Нѣтъ неправды въ его душѣ».

Опять послѣдовалъ тяжелый перерывъ.

— Неисповѣдимы пути Господа, — вдругъ началъ опять старикъ дрогнувшимъ и болѣе глухимъ голосомъ. — Не дожила до полного счастья моя дѣточка. Слегла отъ непосильной работы и умерла въ чахоткѣ, какъ цвѣтокъ, завяла... На все воля Божія... Видно, такъ надо было... Чувяла она, что смерть, а виду не подавала. Лежить, бывало, и улыбается и мнѣ, и жениху своему... Такъ до самаго конца... до послѣдняго вздоха. Въ день смерти подошелъ

онъ къ ней, а она говоритъ: «Поцѣлуйте меня»... Наклонился онъ да такъ и упалъ, точно ребенокъ плача... «Добрый вы, — говоритъ она, — добрый человекъ, и Богъ васъ за это не оставитъ»... А онъ и слова сказать не можетъ... глотаешь слезы, а онъ такъ и льются, льются...

Старикъ нахмурилъ брови, подавляя свои слезы, и, коротко, отрывисто, какъ бы спѣша, продолжалъ:

— Онъ и хоронилъ ее. Вонъ тутъ зарыли. Каждый праздникъ ходилъ къ ней на могилку. Только что-то неладное стало съ нимъ. Нашло что-то на него. Сталъ говорить не путевое. «Подлецамъ, говоритъ, жить можно. Честнымъ умирать надо». Я ему, бывало, скажу: ты молись лучше. А онъ засмѣется такъ злобно, лицо перекоситъ и говоритъ: «А вы нешто мало молились? Или Маша не молилась?» А у самого ротъ искривится, глаза разгорятся, остановятся, впередъ смотрятъ, а самъ словно ничего не видитъ. «Правды, говоритъ, на землѣ нѣтъ! Гдѣ она, гдѣ? А безъ правды жить нельзя!» И куда тихость его дѣвалась, куда доброта пропала! Не загулялъ,

не запыль, а совсѣмъ буйнымъ сталь, всѣ у него подлещы да прохвосты, всѣ аспиды до кровопійцы... Совсѣмъ свихнулся человекъ...

Старикъ замолчалъ и глубоко задумался.

— Живъ онъ еще? — спросилъ я.

— Не могу вамъ, ваше благородіе, сказать, — отвѣчалъ старикъ. — Дѣло такое вышло, грѣхъ случился. Управителя на фабрику почти до смерти задушилъ, свои же рабочіе того чуть живого отъ него отняли. Судили его потомъ, сослали его въ Сибирь... Никакого снисхожденія на судъ не дали, потому и не за что: совсѣмъ ожесточенный человекъ сталь, всѣмъ было видно... Молодъ былъ, не оббился, не обтерпѣлся... Насъ, благодареніе Господу Богу, ко всему пріучила солдатская служба. Тоже сами знаете, какъ въ старыя-то годы солдатамъ жилось, не довернешься — бѣда, перевернешься — другая. Все сносить пріучили, все претерпѣвать приспособили. Ну, вотъ теперь и живу, не гнѣвъ Господа Бога напраснымъ ропотомъ. Себѣ же хуже, а никому другому сдѣлаешь этимъ самымъ роптаніемъ и ожесточеніемъ: безъ ропота — злой обидитъ, роптать станешь — и добраго



врагомъ сдѣлаешь...

Этотъ разсказъ вспомнился мнѣ, когда я смотрѣлъ на погребальную процессію Русинной.

\* \* \*

Какъ-то недавно я опять зашелъ на кладбище и долго пробесѣдовалъ съ Михеевымъ, сидѣвшимъ на дорогой для него могилѣ его дочери. Онъ съ тоской разсказывалъ мнѣ, что въ послѣднее время ему стали измѣнять силы.

— Тоже не станетъ силъ ходить, голодомъ насидишься, на улицѣ навалешься, прежде чѣмъ подберутъ и призрѣютъ, — говорилъ онъ. — Только на Господа Бога и остается надежда, не попуститъ.

На колокольнѣ раздался звонъ. Старикъ поднялся.

— Обѣдня кончается, идтить надо... Сегодня създъ большой... Заказная обѣдня въ соборѣ...

— Кого-нибудь богатаго хоронять?

— Нѣтъ... Сороковой день сегодня по барынѣ...- то-есть не то чтобы барыня... а изъ тiатру богатую комедiантку тутъ хоронили...

Кареть столько сегодня понаѣхало... Авось, перепадетъ что-нибудь...

Старикъ снялъ фуражку и поклонился мнѣ. Я далъ ему денегъ. Онъ покрестился и побрелъ по направленію къ храму. Я тоже спустился на мостки, заперъ двери рѣшетки, замкнулъ замокъ и пошелъ. Мнѣ навстрѣчу валила толпа народа. Впереди шли пѣвчіе съ громкимъ пѣніемъ. Далѣе шли дьячокъ и священникъ въ бѣлыхъ ризахъ. Сзади шла цѣлая масса народа съ дорогими вѣнками и букетами въ рукахъ. Вся эта масса остановилась около могилы, недалеко отъ церкви. Ото была не могила, а роскошный цвѣтникъ, на который было потрачено нѣсколько сотенъ рублей. Живые цвѣты ландышей, сиреней, розъ, левкоевъ, гіацинтовъ засыпали сплошь могильную насыпь. Кругомъ могилы все было усыпано красноватымъ пескомъ. Это была могила Русиной...

Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ нея съ обнаженной головой съ глубокимъ шрамомъ черезъ весь лобъ стоялъ въ своей дырявой шинели Михеевъ, крестясь и ожидая, что кто-нибудь изъ этихъ господъ, потратившихъ сотни

рублей на вѣнки для украшенія могилы покойной танцовщицы, подасть грошъ ему, защищавшему отечество...

## XII

# Соблазнъ

— Что, сосѣдушка, залюбовались? — раздался около меня веселый и мягкій старушечій голосъ.

Я въ это время смотрѣлъ на только-что поставленный памятникъ по сосѣдству съ моими дорогими могилами. Памятникъ, находившійся подъ легкою, могущею защитить его отъ дождей, желѣзною крышей, былъ поставленъ ты срединѣ довольно просторнаго, откупленнаго для могилъ мѣста, вокругъ котораго шла чугунная рѣшетка, а выше поднималась до крыши проволочная сѣтка. Памятникъ состоялъ изъ тяжелаго квадратнаго подножія изъ сѣраго гранита и небольшой часовенки изъ бѣлаго мрамора, заканчивавшейся пятью маленькими мраморными куполами, съ небольшими крестами наверху. Въ срединѣ этой игрушечной часовенки была ниша и въ нее былъ вдѣланъ образъ въ позолоченной бронзовой рамѣ. Передъ образомъ находилась замѣчательной работы бронзо-

вая лампада, висѣвшая на красивыхъ цѣпочкахъ... Лампада и цѣпи тоже были вызолочены. Живопись образа и тонкая чеканка бронзовыхъ вызолоченныхъ рамки, лампы и цѣпей были превосходны.

— Да, Марья Петровна, залюбовался, — отвѣтилъ я, обращаясь лицомъ къ подошедшей, богато и въ то же время просто одѣтой старушкѣ и пожимая ей съ улыбкой руку. — Прелестная игрушка!

Приземистая, кругленькая, румяная, съ ямками на щекахъ и съ добродушною улыбкой на лицѣ, старушка смотрѣла очень симпатично и почти всегда была бодра и весела, какъ вполне обезпеченный, живущій на покой человекъ. Она въ шутку звала меня «сосѣдомъ», такъ какъ наши «помѣстья», то есть могильные участки, находились рядомъ и, по ея словамъ, «какъ-никакъ, а въ дружбѣ надо было жить, такъ какъ лежать придется бокъ-о-бокъ». Къ вопросу о смерти она относилась спокойно, какъ къ самому естественному и обыкновенному явленію, и не упускала изъ виду практической стороны дѣла: заранѣе заготовила себѣ склепъ рядомъ со

склепами мужа и сына, заботливо справляясь, не дастъ ли этотъ склепъ течи и прочно ли онъ замазанъ; поставила надъ могилами мужа и сына памятникъ и даже приказала высъчь на немъ, кромѣ именъ, отчество и фамилій сына и мужа, свои имя, отчество и фамилію, а также годъ и число своего рожденія, оставивъ только мѣсто для обозначенія времени смерти. «Хлопотъ меньше потомъ будетъ», сообщала мнѣ она, говоря объ этомъ предметѣ.

— Да ужъ памятникъ, одно слово первый сортъ работа, сто лѣтъ простоить — не покривится, — сказалъ старшій изъ группы рабочихъ, стоявшихъ безъ шапокъ около насъ.

— Еще бы не первому сорту работъ быть; сама наблюдала за всѣмъ, а мужъ-то подрядчикомъ тоже по строительной части сперва былъ, такъ толкъ-то я въ дѣлѣ и знаю, — съ благодушной улыбкой замѣтила Марья Петровна и опять обратилась ко мнѣ:— Нѣтъ, вы, сосѣдушка, на образъ-то полюбуйте. Какова работа?

— Превосходно написано! — отвѣтилъ я.

— Ужъ чего лучше. Въ дальній монастырь

посылала заказъ, а рамку и лампаду здѣсь на французскомъ заводѣ дѣлали по особому рисунку и черезъ огонь позолотили, — пояснила не безъ гордости старушка, любуясь образомъ. — Сначала-то я хотѣла семейный образъ заказать — написать Марію, Прохора, царя Константина — сына покойнаго Костей звали, — да потомъ раздумала. Несуразное что-нибудь могло выйти, наставили бы зря другъ подлѣ друга святыхъ изъ разныхъ временъ и государствъ, Богъ знаетъ что вышло бы. А мой покойный Прохоръ Васильевичъ все изящное любилъ и ужъ особенно по части живописи. Знатокъ былъ. Ну, и попросила я просто Матерь Божию съ младенцемъ Іисусомъ изобразить, да впередъ мнѣ эскизъ прислать. А тамъ, въ монастырѣ-то, они и надумали, что лучше всего сдѣлать копію съ мѣстнаго образа, что у Исаакія по правую сторону царскихъ вратъ красуется. Написали мнѣ; обрадовалась я. Ужъ лучшаго-то сами они ничего не выдумаютъ. И образъ-то этотъ мой любимый. Глазки-то младенца Іисуса точно живые, такъ и кажется, что смотритъ Онъ на всѣхъ и всѣхъ къ Себѣ призываетъ.

Нарочно ъзжу къ Исаакію къ обѣднямъ, чтобы на него посмотрѣть. Вотъ хорошо и вышло.

— Дорого встало? — полюбопытствовалъ я.

— Не дороже денегъ, родной мой, — отвѣтила старушка, продолжая любоваться образомъ. — Восемьсотъ рублей съ небольшими за все-то заплатила, я за образъ, и за рамку, и за лампаду. Спросили бы больше — дала бы и больше. Очень ужъ все это мнѣ въ чертахъ понравилось. Въ одномъ стилѣ все.

Она обернулась къ рабочимъ.

— Ну, голубчики, на чай ждете? Заболталась я! Вотъ вамъ покуда, а завтра панихида на могилѣ будетъ, приходите, — еще дамъ и обѣдомъ васъ распорядятся накормить. Я ужъ приказала...

Она стала раздавать низко кланявшимся ей рабочимъ деньги и, дойдя до послѣдняго изъ нихъ, посмотрѣла съ недоумѣніемъ на слѣпого старика, котораго поддерживалъ молодой подростокъ. Казалось, она не сообразила сразу, что это нищіе, и удивилась ихъ присутствію тутъ. Когда она подошла къ нимъ, старикъ проговорилъ едва слышно:



— Милостыньку Христа ради!

Она торопливо достала изъ щегольской кожаной сумочки мелочь и дала старику.

— Сынъ твой? — спросила она старика и, позабывъ, что онъ слѣпъ, указала глазами на юношу.

— Это со мной-то? — спросилъ старикъ. — Сынокъ, сынокъ...

Онъ тяжело вздохнулъ,

— Хворый? — спросила она, окидывая глазами хрупкую, полунагую, сильно загорѣвшую фигуру мальчугана.

— Голодный, — скорбно отвѣтилъ старикъ.

Она смутилась, опять торопливо достала серебряную мелочь изъ мѣшечка и сунула ее въ руку юношѣ.

Онъ стоялъ понуро, потупясь, смотря въ землю, точно приговоренный къ смерти. Когда онъ и слѣпой старикъ поплелись дальше, она обратилась ко мнѣ нѣсколько тревожно:

— Въ гробъ краше кладутъ!

— Да, я, признаюсь, рѣдко встрѣчалъ такое истощеніе, — сказалъ я, провожая глазами удалявшихся отца и сына. — Это скелетъ, обтянутый кожей.

— А вотъ умыть, откормить, опять красавцемъ сталъ бы. Видѣли, глаза-то какіе и волосы? — замѣтила старушка.

Дѣйствительно, у юноши были поразительно густые, вьющіеся, шелковистые волосы и удивительные по величинѣ и выраженію глаза, полные тоски, грусти, задумчивости, чего-то такого, что влекло къ себѣ и въ то же время надрывало сердце.

— Надо бы вотъ... — начала старушка.

Ее прервали ноющіе, слезливые, гнусавые голоса нищихъ, бабъ, дѣтей, стариковъ:

— Благодарѣтельница наша, Христа ради, дай копеечку! На поминовленіе родителей, сотвори подаваніе! Заставь Богу вѣчно молиться!

Около насъ была уже цѣлая ватага нищихъ, грязныхъ, въ лохмотьяхъ, съ грудными дѣтьми, съ кривыми глазами, съ подвязанными руками и ногами. Всѣ они ныли и охали, протягивая руки, залѣзая впередъ другъ передъ другомъ, огрызаясь другъ на друга, а изъ-за сосѣднихъ могилъ по всѣмъ направленіямъ, ковыляя, спѣшили на перегонку новыя и новыя группы такого же оборваннаго люда. Весь этотъ сбродъ, съ слѣдами

разгула и пьянства, съ опухнувшими лицами и синяками подъ глазами, ныль и охаль, протягивая руки, которыя, казалось, готовы было не только принять подаяніе, но и вырвать его, ограбить ту, къ которой онѣ тянулись за грошомъ. Старушка торопливо шарила въ кожаной сумочкѣ, совала мелочь въ руки попрошакъ, наконецъ, въ какомъ-то комическомъ отчаяніи проговорила:

— Больше нѣтъ, не прогнѣвайтесь! Ступайте! ступайте.

И торопливо прощаясь со мною и спѣша пройти къ своему экипажу, сказала:

— Просто бѣда, иногда посидѣть придешь къ себѣ на могилы, а тутъ эта стая воетъ и ноетъ, — махнешь рукой и уѣдешь...

Мнѣ пришлось послѣдовать ея примѣру. Я самъ нерѣдко испытывалъ, что значитъ быть осажденнымъ нищими, сидя на могилѣ, и уже не разъ убѣгалъ отъ назойливости этой кладбищенской саранчи. Довольно одному нищему выслѣдить, на какую могилу прошли вы, чтобы черезъ нѣсколько минутъ васъ осадилъ цѣлая ватага этихъ промышленниковъ. Сколько вы ни говорите имъ: «Богъ подастъ»,

«Не прогнѣвайтесь», «Идите прочь» и тому подобныя ходячія фразы, они будутъ осаждать васъ, пока вы, потерявъ терпѣніе, не сбѣжите отъ нихъ сами.

\* \* \*

Мѣсяца черезъ три мнѣ приходилось уѣхать изъ Петербурга и передъ отъѣздомъ я забрелъ снова на кладбище. Открывая дверь рѣшетки, окружающей мои могилы, я увидалъ Марью Петровну. Она сидѣла около своего памятника на чугунномъ стулѣ и заботливо подвязывала какой-то цвѣтокъ. Увидавъ меня, она кивнула мнѣ ласково головой и сказала:

— Вотъ судьба-то, нѣтъ-нѣтъ и столкнетъ сосѣдей.

— Зато теперь ужъ долго не увидимся, — откликнулся я, отвѣчая на ея поклонъ. — Уѣзжаю мѣсяцевъ на девять!

— О, что такъ надолго? Пожалуй, мнѣ и не дожить, — отвѣтила она. — Старушечій вѣкъ не дологъ!

— Доживете, Богъ дастъ, — сказалъ я въ видѣ утѣшенія.

— Да мнѣ, голубчикъ, все равно, что здѣсь,

что тамъ, — сказала она съ благодушной улыбкой. — Тамъ еще спокойнѣе, пожалуй, будетъ, а здѣсь, кажется, все ужъ я пересмотрѣла. Вотъ и нынче старья кости на воды за границу возила. Нельзя: докторишки посылали! Свои тоже пристали: «если приказываютъ ѣхать, то и поѣзжайте!» Очень тоже мнѣ нужно какой-нибудь годъ у смерти утягивать. Ну, а ужъ тамъ, на томъ-то свѣтѣ рыскать не будешь!

— А родныхъ не жаль? — спросилъ я ее.

— Всѣ на своихъ ногахъ стоятъ, — отвѣтила она. — Да притомъ и тамъ-то тоже родные, да еще поближе этихъ, матушка съ батюшкой, мужъ и сынъ. Поди, тоже соскучились безъ меня, дивятся, что зажилась старуха, — заключила она съ добродушнымъ юморомъ.

Въ эту минуту къ ней прибѣжалъ какой-то мальчуганъ, за которымъ шла поспѣшно почтенная няня. Онъ бросался къ Марьѣ Петровнѣ и что-то сталъ торопливо рассказывать.

— Внучекъ мой, — пояснила мнѣ съ мягкой улыбкой старушка, и ея розовое лицо точ-

но засвѣтилось. — Его вотъ жаль оставить, не стану лгать... Сегодня вотъ привезла его сюда съ няней погулять; съ тѣхъ поръ вѣдь я не была здѣсь, какъ тогда памятникъ поставила. Все на водахъ жила. Ну, сегодня и надумала сюда заѣхать. Не все же по островамъ кататься. А дни-то благодатные какіе стоятъ и на конецъ августа не похоже.

Мы поболтали еще немного, и старушка, накинувъ на плечи спущенную ротонду, перекрестилась и не спѣшно пошла съ могилы. Проходя мимо меня, она пожала мнѣ руку, проговоривъ:

— Ну, не встрѣтимся здѣсь, свидимся тамъ!

Затѣмъ я видѣлъ, какъ она прошла съ внукомъ и его няней по мосткамъ къ широкой дорогѣ и стала усаживаться въ щегольскую коляску.

«Не встрѣтимся здѣсь, свидимся тамъ», повторялись въ моей головѣ слова старушки. Какое счастье такая твердая вѣра! Приходя сюда, она, эта милая старушка, убѣждена, что она приходитъ къ своимъ любимымъ роднымъ и что они это знаютъ. Съ какимъ особеннымъ выраженіемъ она сказала мнѣ тогда,

при постановкѣ памятника, что ея Прохоръ Васильевичъ любилъ все изящное и особенно хорошую живопись; въ этомъ выраженіи сказалось убѣжденіе, что ея Прохоръ Васильевичъ видитъ этотъ памятникъ, любитъся имъ, благодарить ее за него. А я? что я уношу въ душѣ послѣ посѣщенія родныхъ могилъ? Одно тяжелое сознаніе полнаго моего одиночества въ мірѣ, сознаніе ужасающей пустоты около себя, сознаніе, что никогда-никогда нигдѣ не встрѣтятся тѣ, которыхъ взяла могила. И зачѣмъ я хожу сюда въ часы неодолимой хандры, зачѣмъ добровольно бережу старыя раны, унося отсюда одно горькое сознаніе, что былое неозвратно? Если сюда ходитъ она, эта старушка, то она выноситъ сладкое убѣжденіе, что она повидалась со своимъ Прохоромъ Васильевичемъ, со своимъ Костей, а я уношу одно горькое сознаніе, что тѣхъ уже нѣтъ и не будетъ, кого я любилъ. Да, я сознаю, что я мучу себя этими посѣщеніями могилъ и все-таки снова и снова меня тянетъ сюда какая-то тайная сила и точно кто-то шепчетъ мнѣ: «а авось!» Проклятая двойственность! И я искренно завидовалъ тому

поколѣнію, которое сохранило безусловную вѣру въ будущее, позавидоваль я и тѣмъ будущимъ поколѣніямъ, которыя, можетъ-быть, когда-нибудь станутъ безслѣдно запахивать подъ посѣвы могилы своихъ мертвецовъ и трезво, разъ и навсегда примирившись съ неотразимымъ фактомъ смерти, скажутъ себѣ: «земля отошла въ землю», скажутъ это съ твердымъ убѣжденіемъ, что живые должны думать исключительно только о живыхъ и оставлять трупы мертвыхъ исполнять единственное прямое ихъ назначеніе — утучнять землю для новыхъ будущихъ посѣвовъ.

\* \* \*

Стоялъ чудесный майскій день, когда, вернувшись въ Петербургъ, я снова посѣтилъ родное кладбище. Здѣсь все было уже зелено, надгробные кресты и плиты тонули въ сочной травѣ, среди густо разросшихся деревьевъ слышались немолчный гомонъ и пѣніе птицъ, кое-гдѣ на могилахъ безопасно рѣзвились и хохотали дѣти, близъ самой ограды кладбища, весело пыхтя и стуча колесами, пронесся по высокой насыпи желѣзнодорожный поѣздъ, унося изъ душна-



го города Ёдущихъ на дачи. Все дышало жизнью и ничто не говорило о смерти. Я поднялся по ступенямъ къ своимъ могиламъ, открылъ дверь рѣшетки и присѣлъ на скамью, поздоровѣвшій во время долгаго путешествія и теперь охваченный, подѣ вліяніемъ грѣвшаго солнца и оживившейся природы, жизнерадостнымъ чувствомъ, какъ-будто я былъ не среди покойниковъ, а гдѣ-то въ цвѣтущемъ и разстающемся на плодородной почвѣ саду. Въ эту минуту мой взглядъ упалъ на памятникъ Марьи Петровны, и я вспомнилъ о ней. Жива ли старушка? Вотъ кстати бы встрѣтить ее здѣсь теперь, румяную, бодрую, улыбающуюся. Я поднялся и сталъ смотрѣть на надпись на ея памятникѣ: день и годъ ея смерти попрежнему не были обозначены. Ну, значить, жива, слава Богу. Отчего ей и не жить, не наслаждаться жизнью? Богата, окружена любящею родней, уважаема въ обществѣ, какъ искренно добрый человекъ...

Пробывъ на кладбищѣ съ полчаса, я уѣхалъ.

Въ теченіе лѣта я разъ пять заглядывалъ сюда, но, къ сожалѣнію, ни разу не встрѣтилъ

«сосѣдку». Не больна ли она?

Я какъ-то задалъ этотъ вопросъ Власу, могильщику, присматривавшему за ея и за моими могилами, то-есть выметавшему съ нихъ соръ, посыпавшему пескомъ дорожки и исполнявшему всѣ тому подобныя обязанности.

— Нѣтъ-съ, живы и здоровы, — отвѣтитъ онъ. — Рѣдко только нынѣ бываютъ здѣсь.

— Рѣдко бываетъ? Что же это значить? Ужь не разлюбила ли она своего Прохора Васильевича и своего Костю? — Я посмотрѣлъ на огороженное мѣсто ея могиль и удивился немного, замѣтивъ, что оно нѣсколько запущено: на немъ не было тѣхъ дорогихъ цвѣтовъ, которыми обыкновенно лѣтомъ украшаются это мѣсто.

— И цвѣтовъ нынче нѣтъ у васъ тутъ, — сказалъ я могильщику.

— Воруютъ-съ, — отвѣтилъ онъ хмуро:— не усторожишь за этими дьяволами-ворами. Съ отмычками ходятъ, пусто бы имъ было. Украдутъ, а ты отвѣчай, что плохо сторожишь. А не ночевать же на могиль.

И, сердито сплюнувъ, онъ прибавилъ:

— Вонъ образъ и тотъ скрали! Лампаду то-

же. Извѣстно, дорогія вещи, какъ не позариться. А тоже потомъ все на нашемъ братѣ отзывается.

Я поднялъ глаза и увидалъ, что передъ нишей не было лампадки, а въ самой нишѣ не было ни образа, ни бронзовой его рамы. Пустое невыровненное углубленіе, гдѣ прежде находился образъ, безобразило часовенку, и мнѣ показалось страннымъ, что Марья Петровна не вставила новаго образа вмѣсто пропавшаго. Неужели ее не тревожитъ, что ея Прохоръ Васильевичъ, любившій живопись и все изящное, лежитъ теперь подъ такимъ обезображеннымъ памятникомъ?

Во мнѣ пробудилось любопытство, мнѣ захотѣлось еще сильнѣе увидеть Марью Петровну, распросить ее обо всемъ, разрѣшить загадку. Какъ-то невольно я обратилъ вниманіе на надпись на памятникѣ, и мнѣ бросилось въ глаза: «скончался 1-то сентября 1875 года». Это былъ день смерти ея Кости. Конечно, въ этотъ день она посѣтитъ его могилку. Не завернуть ли и мнѣ въ этотъ день сюда?

Я такъ и сдѣлалъ.

Дѣйствительно, прїѣхавъ 1-го сентября на кладбище, у одной изъ кладбищенскихъ церквей я увидаль коляску Марьи Петровны среди нѣсколькихъ другихъ щегольскихъ собственныхъ экипажей. Въ главной церкви была заказная обѣдня. Я зашелъ туда, но Марьи Петровны тамъ не было. Я понялъ, что она, вѣрно, на могилѣ, и прошелъ туда. Старушка сидѣла на одномъ изъ металлическихъ стульевъ, стоившихъ на могилѣ около памятника, и смотрѣла какъ-то-особенно не весело. Я окликнуть ее.

— А, дорогой сосѣдъ, — отозвалась она, едва замѣтно улыбаясь. — Вотъ-то не ждала!

Она, какъ мнѣ показалось, и похудѣла, и поблѣднѣла, и постарѣла.

— Привелъ Богъ еще свидѣться, — заговорила она, отворяя дверь рѣшетки и приглашая меня войти. — Рада я, голубчикъ, что свидѣлась. Совѣта нужно спросить. У всѣхъ теперь совѣтовъ спрашиваю, точно одурѣла вдругъ, а всѣ только подсмѣиваются. «По пустякамъ тревожитесь», говорятъ. Вы-то этого не скажете. Сердечный человекъ, все такое понимаете, да притомъ и сами причастны къ

этому дѣлу.

— Къ какому дѣлу? — спросиль я, недоумѣвая.

Я сѣлъ на другой стулъ, стоявшій около памятника.

— Да вотъ, — она указала на пустое мѣсто въ нишѣ. — Власъ-то, вѣрно, говорилъ вамъ, какъ и что тутъ случилось.

— То-есть сказалъ, что украли образъ и лампаду, и только, — сказалъ я.

— Ахъ, глупый, глупый народъ, — нѣсколько раздражительно проговорила она. — Украли! укради! Да развѣ въ этомъ суть-то? Развѣ это все внутри меня перевернуло? Тысячи, слава Богу, теряла, да не плакала, потому деньги что-наживное дѣло, да и не съ ними на судъ-то Божій предстанешь. А тутъ горе-то какое случилось! Вотъ, жила-жила, да на старости лѣтъ и натворила бѣдъ, душу христіанскую погубила.

Я ничего не понималъ.

— Расскажите, въ чемъ дѣло! — сказалъ я.

— Помните, милый вы человекъ, когда памятникъ-то кончили и вы тутъ были, нашъ разговоръ? — дружески начала она, дотроги-

ваясь рукой до моей колѣнки. — Расхвасталась я тогда; и живопись-то хороша, и бронза-то по особымъ рисункамъ сдѣлана, и лампада-то по заказу чрезъ огонь позолочена, и восемьсотъ-то рублей съ небольшимъ заплачено. Соврала даже вамъ, цифру убавивши, чтобы похвастать, какъ дешево покупаю. То же баба! Помните?

— Помню, помню, — отвѣтилъ я.

— Ну, а мальчика-то, голодененькаго мальчика съ слѣпенькимъ отцомъ-нищимъ помните? Еще кудри-то его, мальчика-то, да глава-то его обоихъ насъ поразили? Тоже не забыли?

Я утвердительно кивнулъ головой.

— Ночью во снѣ эти глаза теперь на меня смотрятъ, да какъ смотрятъ-то, тоскливые да укоризненные, словно на убійцу, — проговорила она въ сильномъ волненіи. — Ей-Богу! Вѣдь это онъ украль-то, мальченокъ-то этотъ, его это я, голубчика, искусила, грѣшница. Да я думаю. Прохоръ-то Васильевичъ въ гробу перевернулся, когда онъ-то, малышъ-то этотъ несчастный, мною подъ руку подтолкнутый, образъ-то выковыривалъ да

лампаду отвинчивалъ здѣсь на могиль.

— Полно вамъ, началъ я:— вы тутъ не...

Она съ несвойственной ей рѣзкостью перебила меня:

— Не говорите мнѣ хоть вы-то того, что другіе говорятъ! Словно стоворились всѣ ухлопать меня самыми этими утѣшеніями! Такъ другіе того разговора не слышали и человека этого не видали, и души-то у нихъ кожаныя; а вы...

Она вдругъ прервала начатую фразу и опять задушевымъ тономъ спросила меня:

— Помните, родной мой, какъ я спросила старичка: «хворый онъ у тебя?» а старичокъ-то коротко отвѣтилъ: «голодный!» Умирать я буду, а этого слова не забуду. Ни слова этого, ни того, какъ сказано оно было, не забуду. Ни въ одномъ грѣхѣ не покаюсь, а въ этомъ буду весь вѣкъ каяться. Голодному гривеникъ дала, а тутъ при немъ же нашла чѣмъ хвастать, что сотни рублей на украшеніе памятника бросила...

Чтобы немного разсѣять ея мысли о ея виновности въ этой исторіи, я спросилъ:

— О чемъ же вы хотѣли со мной-то

посоветоваться?

— Объ адвокатъ, объ адвокатъ, голубчикъ. — заторопилась она — Кого лучше взять? Говорила я съ родными, съ знакомыми. Всѣ шутятъ только: «Да возьмите любого, тутъ и защищать-то нечего, дѣло ясно и никакихъ оправданій быть не можетъ: укралъ воришка, вотъ и все, а тутъ еще святотатство — отягчающія вину обстоятельства!» А? каково? Эти они мнѣ-то говорятъ: «отягчающія обстоятельства!» Тупымъ ножомъ по-сердцу рѣжутъ, да еще смѣются: «изъ ума, молъ, наша старушка выживать стала». Ну, а вы меня поймете и поможете мнѣ. Такого мнѣ адвоката надо, чтобы душу-то мою понялъ, чтобы меня-то не казнилъ: вѣдь, накажутъ мальчугана — меня накажутъ, пить-ѣсть я не въ силахъ, какъ вспомню, что сослать его могутъ. Отягчающія обстоятельства, шутка сказать! Вы мнѣ уже подыщите, голубчикъ. Такъ среди нихъ, говорятъ, разные есть — одни если крючкомъ надо донять, такъ хороши; другіе, если слезой пронять нужно; извѣстно, дѣла всякія у нихъ, тоже за деньги умудряются.



Я успокоилъ, какъ умѣлъ, Марью Петровну и пообѣщаль ей разузнать все это дѣло и переговорить съ нѣсколькими присяжными повѣренными. Она крѣпко пожала мою руку и поднялась съ мѣста, чтобы пройти въ церковь, гдѣ шла уже обѣдня.

— Вотъ, вѣдь, на могилки свои перестала даже ѣздить, — сказала она мнѣ, направляясь со мной къ церкви. — Не могу смотрѣть на этотъ памятникъ, точно укоръ онъ стоитъ передо мною... Да и молюсь-то нынче Богъ знаетъ какъ: крещусь, крещусь, а въ головѣ, все онъ, все мальчоночка этотъ, смотритъ на меня, да такъ вотъ, что жутко...

\* \* \*

Никогда я не думалъ, что я могу такъ горячо заинтересоваться чѣмъ-нибудь совершенно чужимъ и совершенно зауряднымъ дѣломъ, какъ я заинтересовался этимъ дѣломъ о кражѣ образа и лампы. Но что я, — самъ Александръ Васильевичъ Протасовъ, присяжный повѣренный, рекомендованный мною Марьѣ Петровнѣ, очень горячо взялся за это лѣто, хотя онъ уже давно привыкъ смотрѣть совершенно равнодушно на вся-

кихъ воришекъ, на осужденія и оправданія ихъ: «Старушку надо оправдать, — шутливо замѣтилъ онъ мнѣ, переговоривъ съ нею. — Она немножко того!» добавилъ онъ, повертѣвъ рукою около лба. Она дѣйствительно была жалка и трогательна въ своей душевной тревогѣ и могла разжалобить каждаго. Я согласился вполнѣ съ Протасовымъ, что оправданіе было нужно прежде всего ей.

Мнѣ было просто жутко, когда я въ назначенный для разбирательства этого дѣла день входилъ въ зданіе окружного суда и пробирался въ залъ, гдѣ должно было слушаться это дѣло, точно моя собственная участь зависѣла отъ рѣшенія присяжныхъ засѣдателей.

Когда я вошелъ въ зало засѣданія, тамъ было уже нѣсколько человѣкъ зрителей, но особеннаго стеченія публики не было и не могло быть. Для постороннихъ это дѣло не представляло никакого особеннаго интереса и не могло служить приманкой для публики, которой набралось сюда не только въ небольшомъ количествѣ, но какъ бы случайно, — пришли

люди потому, что дѣваться некуда было отъ праздности и скуки. Никто, понятно, не могъ и подозрѣвать, что съ психологической стороны это дѣло о какой-то кражѣ Иваномъ Дитяинымъ съ памятника образа и лампады было въ десять разъ интереснѣе множества самыхъ громкихъ процессовъ!

Я какъ-то разсѣянно, въ лихорадочномъ волненіи, пропустилъ мимо ушей всю формальную сторону возгласовъ о появленіи судей, провѣрку присяжныхъ заседателей и тому подобную обстановочную часть дѣло, напряженно ожидая одного — появленія преступника. Я тотчасъ же узналъ его, когда онъ появился на скамьѣ подсудимыхъ. Да и трудно было забыть эту фигуру, это лицо. Молодыхъ мучениковъ, идущихъ на растерзаніе къ звѣрямъ, такими изображаютъ художники на картинахъ. Это былъ скелетъ, обтянутый кожей, но, тѣмъ не менѣе, сразу чувствовалось, что при другихъ условіяхъ этотъ юноша былъ бы не только поразительнымъ красавцемъ, но и однимъ изъ тѣхъ, которые невольно привлекаютъ къ себѣ сердца людей. Что-то мягкое, благородное, хрупкое было въ каждой

чертъ его лица. Они казалось какимъ-то безтѣлеснымъ и, въ то же время, одухотвореннымъ. Его большіе глаза, когда поднимались его длинныя черныя рѣсницы, смотрѣли съ мучительнымъ выраженіемъ тоски, безысходной, безнадежной, запавшей куда-то глубоко. Иногда изъ его исхудалой груди вырывался невольный тяжелый вздохъ. Изрѣдка онъ покашливалъ мелкимъ зловѣщимъ кашлемъ, а на впалыхъ щекахъ проступалъ легкій румянецъ. Въ моей головѣ мелькнула мысль: «И судить бы не зачѣмъ, онъ и такъ осужденъ на-смерть». И какъ онъ былъ юнъ! «Пятнадцать-шестнадцать лѣтъ ему, не болѣе», думалось мнѣ. И вдругъ я услышалъ, что ему уже девятнадцатый годъ пошелъ. Это меня поразило! Какъ жь могъ остаться такимъ моложавымъ? Какъ могло уцѣлѣть въ его лицѣ выраженіе этой дѣтской чистоты и наивности? Его стали спрашивать, онъ какъ-то особенно тревожно приподнялъ голову на тонкой длинной шеѣ и сталъ внимательно прислушиваться къ вопросамъ, съ своеобразнымъ выраженіемъ, какъ-будто немного плохо слыша. Онъ былъ, дѣйствительно, глухо-

вать и видимо стѣснялся этимъ, потерявъ слухъ, вѣроятно, недавно. Въ глазахъ его стояли слезы, но онъ не плакалъ. Его отвѣты были коротки, просты, иногда трогательны.

— Нигдѣ мы не жили. Бродили изъ мѣста въ мѣсто. Отецъ ослѣпъ, когда мнѣ еще пять лѣтъ было. У матери правой руки не было, на фабрикѣ оторвало. Работать не могли. Сестра старшая чахоточная была. Старше меня на пять лѣтъ. По-міру мы всѣ ходили. На родину высылали насъ. Тамъ ни кола, ни двора. Изъ дворовыхъ отецъ и мать были. Земли не было. Опять ворочались въ Москву, въ Петербургъ.

Его спросили, грамотный ли онъ.

— Самъ выучился писать и читать. Фигуры чертить любить, да гдѣ же! Сестра съ матерью ходили по-міру; я съ отцомъ. Въ науку хотѣли взять. Отецъ съ матерью боялись. Забили бы тамъ. Отецъ самъ былъ въ наукѣ, зналъ, какво житье. Глазъ одинъ вышибли, когда еще мальчикомъ былъ. Другой послѣ самъ ослѣпъ.

Его спросили о поведеніи его родныхъ, о ихъ характерѣ.

— Добрые были. Душа въ душу всѣ мы жили. Незадача только была. Богъ не всѣмъ даетъ. Просить — и то не умѣли. Въ одно мѣсто придемъ — гонять. Въ другое толкнемся — всѣмъ дадутъ, а насъ ототрутъ, ничего и не перепадетъ. Отецъ говорилъ: «За чьи-нибудь грѣхи». Тоже до седьмого колѣна Богъ наказываетъ.

Когда былъ заданъ вопросъ, какъ же онъ рѣшился украсть, если, по его словамъ, и онъ, и его семья вели себя хорошо и честно, онъ встрепенулся, взволновался, заговорилъ тревожно:

— У отца ноги отнялись, мать тоже хворала, сестра и всегда чахоточной была, тутъ и стали насъ гнать изъ нашего угла. Уголь — въ повалку четверымъ лечь, а даромъ не давали въ немъ спать. Я одинъ сталъ по-міру ходить. Что мнѣ дадутъ? Молодой! «Работай», говорятъ. Гдѣ же мнѣ работать? Кто возьметъ. Вонъ я какой! Разъ въ полицію чуть не взяли. Вывалялся въ ногахъ, отпустили. Мнѣ невозможно было тогда въ полицію попасть. Что съ отцомъ, матерью да сестрой случилось бы? Тутъ и стало мнѣ представляться: образъ въ

золотой рамъ да лампадка восемьсотъ рублей, а то и болѣе стоятъ. Хожу, прошу милостыню, а они все передъ глазами стоятъ. На что, думаю, покойникамъ? Скрасть, продать, можно и отца, и мать, и сестру въ отдѣльную квартиру пристроить. Хоть разъ передъ кончиной. Восемьсотъ рублей, деньги большія. Четверть дадутъ, и то счастье. Тоже думалъ: потомъ замолю грѣхъ. Святые угодники и злодѣевъ прощаютъ! Въ монахи поступлю и замолю. Давно въ монастырь хотѣлось. Только своихъ жаль было бросить, пока живы.

Онъ опустилъ глаза.

— Вечеромъ схоронился на кладбищѣ; какъ заперли его да улеглись могильщики, пошелъ на могилу, сталъ пробовать, можно ли дверь у рѣшетки отворить. Открылъ гвоздемъ. Потомъ сталъ пробовать образъ, лампадку. Жутко было. Все будто подъ землей кто ворочался. На первый разъ такъ и бросилъ, ушелъ, не глядячи. «Богъ съ нимъ, думаю, съ чужимъ добромъ!» А тутъ стали говорить хозева въ углу, что повезутъ отца и мать въ больницу, а меня съ сестрой погонятъ. Опять стало толкать: «поди! возьми!»

Онъ вздохнулъ.

— Ну, и пошелъ опять. Тяжело было. Гвоздемъ все да отверткой ковырялъ. Инструментовъ не было. Въ три ночи все сдѣлалъ, забралъ, пошелъ. У Дѣвичьяго монастыря на дорогѣ запримѣтили меня. Взяли... избили больно дорогой...

По его исхудалымъ щекамъ медленно капались одинокія слезинки. Грудь тяжело дышала, точно послѣ долгой скорой ходьбы.

По желанію защитника, кромѣ цѣлой массы свидѣтелей изъ подвальныхъ жителей, показывавшихъ о безукоризненномъ поведеніи обвиняемаго, вызвали свидѣтельницу Марію Петровну Волошинову. Она, обыкновенно развязная и держащаяся съ достоинствомъ, вошла въ залъ несмѣлыми шагами, видимо растерявшись среди непривычной для нея официальной обстановки, и никакъ не могла справиться съ кружевнымъ платкомъ, все сваливавшимся съ ея плечъ и волочившимся по полу. Ей указали мѣсто посрединѣ зала лицомъ къ предсѣдателю. Начались вопросы. Она заторопилась, заговорила прежде, чѣмъ вслушалась въ предложенный ей вопросъ.



— Ничего я, господа судьи, не желаю, ничего не ищу, я человекъ богатый и ни съ кѣмъ не судилась. Ни въ нравахъ это у меня, ни въ обычаяхъ.

Ее попытались прервать, но она торопливо продолжала:

— Сама я во всемъ кругомъ виновата и каюсь, что подвела несчастнаго человека...

— Позвольте, — нетерпѣливо остановилъ ее, наконецъ, предсѣдатель. — Вы должны отвѣчать на вопросы, только на вопросы.

— Виновата, виновата, господа предсѣдатели, — сконфуженно извинилась она. — Не знаю вашихъ порядковъ. Скажу только, что сердце мое разрывается, глядя на этого соблазненнаго мною ребенка. Силь моихъ...

Ея опять остановили. Защитникъ, едва замѣтно усмѣхаясь, задалъ ей вопросъ, помнить ли она, какъ она хвастала образомъ и лампадой при подсудимомъ и говорила о цѣнѣ этихъ вещей.

— Да, какъ же не помнить, Александръ Васильевичъ, — обратилась она къ защитнику: — я же сама это и рассказывала вамъ. Не

будь этого...

Ей напомнили, что она должна отвѣчать председателю на вопросъ, заданный ей защитникомъ. Она въ своемъ домѣ не привыкла къ подобному способу разговора и опять немного растерялась, немного обидѣлась. Потомъ сообразила, повидимому, что дѣйствительно Александръ Васильевичъ и такъ все знаетъ, а что надо разъяснить дѣло другимъ, и начала объясненія.

— Я, видите ли, господинъ председатель, изготовила памятникъ мужу, сыну и себѣ. Заказала образъ, бронзовую раму для него, лампаду передъ нимъ. Хотѣлось все понаряднѣе, поизящнѣе. И мужъ былъ человѣкъ, любившій все нарядное да изящное, и я тоже. Извѣстно, люди богатые, можно, значитъ, привередничать, хоть кругомъ весь мѣръ съ голоду погибай. Что дѣлать, всѣ мы люди, всѣ человѣки! Такъ я все и сдѣлала получше, да подороже. Денегъ нечего жалѣть, на мой вѣкъ станетъ и дѣтямъ останется. Спросили за все восемьсотъ съ небольшимъ — что-жъ, и дала, лишь бы хорошо все вышло. Потомъ и еще пришлось приплатить, ну да я объ этомъ ни-

кому не говорила. Вотъ какъ изготовили все, пришла я посмотреть и встрѣтила знакомаго человѣка... Здѣсь онъ, — сказала она и обернулась, ища меня глазами среди публики.

— Продолжайте, — сказалъ ей председатель.

— Нѣтъ, я только смотрю его, потому подтвердить онъ можетъ...

— Я васъ прошу продолжать.

Она вздохнула, слегка пожала плечами и, опять покоряясь волѣ председателя, начала рассказывать:

— Такъ вотъ встрѣтился, говорю я, знакомый человѣкъ, я и расхвасталась! «Каково? — говорю. — Работа художественная. Восемьсотъ рублей слишкомъ стоитъ». Для меня, господинъ председатель, восемьсотъ рублей — пустяки и хвастливость не въ моей натурѣ, да и не въ такомъ положеніи я стою, чтобы хвастать, а разговорилась я объ этомъ, потому что ужъ очень вещи хороши были, и хвастала я, что дешево досталось все. Старушечья бабья слабость. А въ это время, родные вы мои, подошли къ намъ двое нищихъ: старичокъ слѣпенькій, благообразный такой, да

мальчоночка съ нимъ, худой-худой. Да что мнѣ рассказывать о немъ, сами видите, господа, въ чемъ душа держится. Въ больницѣ бы ему лежать, а не здѣсь сидѣть, суда ожидая. Залюбовалась я на его волосы да глаза, да удивилась, что онъ тщедушный такой. Спросила старичка: «Хворый онъ у тебя?» а старичокъ отвѣтилъ: «Голодный». Голодный! Слово-то это какое, господинъ предсѣдатель, вы поймите; А у меня образъ да лампадка для украшенія памятника чуть не въ тысячу рублей! Тогда-то ничего этого и въ голову не пришло. Гдѣ же придти, пока Господь глазъ не откроеть? Подала я имъ, отцу и сыну-то, гроши какіе-то, не помню, право, сколько, а сама думаю: «разспросить ихъ развѣ, да помочь имъ какъ-нибудь», а тутъ другіе нищіе нахлынули, отбою отъ нихъ нѣтъ на кладбищахъ, пьяницы да воришки все больше, и забыла я про старичка и его мальчонка. И вѣкъ себѣ этого не прощу. Натолкнула на грѣхъ челоуѣка, ввела въ искушеніе...

Протасовъ задалъ ей вопросъ, не замѣтила ли она тогда же въ лицѣ или во взглядѣ молодого нищаго чего-нибудь подозрительнаго,

зависти, злобы, недобраго умысла, вообще чего-нибудь такого, что дѣлало его подозрительнымъ.

Старушка быстро обернулась къ адвокату и съ жаромъ съ горькимъ упрекомъ въ голосъ заговорила:

— Да что вы, батюшка Александръ Васильевичъ, я же сама вамъ...

Ей не дали кончить и напомнили снова, что на вопросы защитника надо отвѣчать председателю. Она, бросивъ негодующій взглядъ на адвоката, почти сердито, нѣсколько рѣзкимъ тономъ сказала председателю:

— Я не клеветать сюда пришла на невиннаго человѣка, а оправдать, потому что не онъ, а...

Предсѣдатель спросилъ, перебивая ея рѣчь, не желаетъ ли кто-нибудь сдѣлать еще какой-нибудь вопросъ свидѣтельница.

— Голубчики мои, да чего же еще спрашивать-то? — быстро заговорила она, обводя всѣхъ глазами. — Я, я одна кругомъ виновата. Расхвасталась богатствомъ при голодномъ, да еще дала ему всего...

— Вы можете идти, — началъ председатель.

— Нѣтъ ужъ, господинъ председатель, — торопливо перебила она его:— никакъ не могу я уйти, пока камня съ моего сердца вы не снимете...

Ее настоятельно попросили сѣсть.

— Да совѣсть-то есть же у васъ! — вырвалось у нея изъ груди восклицаніе, и по ея старому, раскраснѣвшемуся лицу покатались слезы.

Защитникъ отыскалъ меня глазами и одобрительно кивнулъ головой съ веселой и насмѣшливой улыбкой...

Меня немного удивила рѣчь прокурора: сухая, короткая, вялая, она была сказана какъ бы нехотя, поневолѣ защитнику было легко говорить противъ такого обвинителя, и онъ блеснулъ чувствительными фразами и мрачными картинами, точно декламируя не то ловко написанный фельетонъ, не то талантливо скомпанованную передовую статью. Заканчивая этотъ фейерверкъ блестящаго краснорѣчія, онъ неожиданно произнесъ:

— Впрочемъ, что же могу сказать я лично

въ защиту моего кліента, когда мы слышали здѣсь защиту той особы, которая имѣла болѣе всего правъ жаловаться на него за оскорбленіе ея святыни — ея родныхъ могиль? Она защитила передъ вами его своимъ сердцемъ, и сердце же должно подсказать вамъ, господа присяжные засѣдатели и судьи, что надо отвѣтить вамъ на вопросъ: «виновенъ ли подсудимый».

Подсудимый былъ оправданъ. Марья Петровна такъ обрадовалась, что даже громко вскрикнула и поднялась быстро съ мѣста. Ее кто-то удержалъ, но не надолго. Едва подсудимый сошелъ, пошатываясь, со своей скамьи, какъ старушка была уже около него и, не обращая ни на кого вниманія, обняла его и, какъ мать, стала ласково гладить по головѣ.

— Натерпѣлся, натерпѣлся, родной мой! — говорила она, не помня себя отъ радости.

Протасовъ подошелъ ко мнѣ и, смѣясь, сказалъ:

— Это вѣдь она рѣчь-то защитительную сказала, а не я. Славная старушенція, а все же Коробочка. Слава Богу еще, что не доведетъ его вторично до того, что онъ на сей разъ об-

воруетъ ея квартиру...

Я вопросительно взглянулъ на него; онъ небрежно пожалъ плечами.

— Прожить-то ему осталось безъ году недѣля. Не поторопились бы — и судить неко-го было бы, — пояснилъ онъ мимоходомъ. — Чахотка въ послѣдней степени развитія...

Оправданный подсудимый и все это окон-ченное дѣло уже вовсе не интересовали его.